



ШТРИХИ ВОСПОМИНАНИЙ

В жизни он был — терпеливый, терпимый, задумчивый, мягкий и грустно-веселый какой-то; словами вколачивал догмат, а из-под слов улыбался адогматической грустью шумящей и блекнущей зелени парков, когда, золотая, она так прощально зардеет лучами склоненного солнца; когда темно-темно-вишневое облачко на холодном и бледно-зеленом закате уже начинает темнеть; и попискивают синицы; и дышит возвышенною стыдливостью страдания воздух; такую *возвышенною стыдливостью* выстрадавшего своего догматизма мне веял Бердяев из-за слов своих.

Андрей Белый

Нет ничего мне более чуждого, чем гордая манера себя держать. Я, наоборот, никогда не хотел иметь вид человека, возвышающегося над людьми, с которыми прихотился в соприкосновение. У меня была даже потребность привести себя во внешнее соответствие со средними людьми. Поэтому я часто вел самые незначительные разговоры. Я любил стусеваться. Мне было противно давать понять о своей значительности и умственном превосходстве.

Н. Бердяев



* * *

Неоценимую услугу делу социал-демократии в Киеве оказал рабочий-токарь Конопко, который находился в числе членов одного кружка саморазвития. Этот кружок саморазвития обращал уже тогда на себя внимание подбором своих членов, из которых впоследствии вышли заметные деятели киевского социал-демократического движения, а также известные литераторы-публицисты. Правда, один из них, Н. А. Бердяев, подвизался в «Полярной звезде» Струве и в «Вопросах жизни», но в то время он очень помогал выработке марксистского мировоззрения кружка. Вот этот-то кружок, ставший к началу 1893—1894 гг. на определенную марксистскую почву, завязал через рабочего Конопко связи с рабочими некоторых предприятий г. Киева.

[Л. Федорченко (Н. Чаров). Первые шаги социал-демократии в Киеве]¹

* * *

...Преступная агитация по программе социал-демократов кроме столиц энергично велась почти во всех промышленных центрах Империи. Наиболее серьезное внимание обращает на себя в этом отношении пропаганда в г. Киеве...

Негласным розыском удалось выяснить, что в Киеве в 1896 г. под именем «Киевского союза борьбы за освобождение рабочего класса» образовалась обширная социал-демократическая организация, члены коей настойчиво вели революционную пропаганду среди рабочего населения. Наблюдением за членами этой организации обнаружены были постоянные сношения их, при чрезвычайно конспиративной обстановке, с некоторыми лицами, проживающими в г. Екатеринославе.

Ввиду сего 11 марта 1898 года в названных городах был произведен ряд обысков...

К настоящему дознанию были привлечены еще некоторые лица... которые, хотя и не принадлежали к числу членов «Союза», но поддерживали с ним непосредственные сношения и оказывали существенные услуги в достижении преступных целей... Следует отметить как самостоятельных агитаторов бывших студентов: Университета Св. Владимира Николая Бердяева и Московского — Викентия Дрелинга, дворянина Анатолия Вержбицкого, штурмана каботажного плавания Николая Мукалова, врача Бориса Кранцфельда и фельдшерницу Марию Смидович; из них Бердяев составлял статьи противоправительственного характера и распространял их среди своих знакомых, а равно, как видно из его переписки, намеревался в ближайшем будущем заняться агитацией среди сельского населения Империи... Мукалов, находясь под непосредственным влиянием Бердяева и пользуясь положением штурмана, занялся преступною пропагандою среди матросов и судовых рабочих.

[Обзор важнейших дознаний по делам о государственных преступлениях в 1898 и 1899 гг.]²

* * *

В 1900 г. в *Вологду* хлынула большая волна ссыльных, приехали: И. А. Саммер, Тучапский и Тучапская, Ауссем, Я. Бляхер, Третьяковы, Ремизов, Н. Бердяев, Кистяковский, А. Богданов с женой Натальей Богдановой, Бабкин, Н. Богданов, Б. Савинков с женой — дочерью Гл. Успенского, Шен, Струмилин, А. Фомин, Немцов, П. Щеголев, Камаринец, Квиткин и др.

Вообще значительная часть киевского с.-д. комитета была переселена в Вологду...

Началась эпоха докладов, или, как это тогда чаще называлось, рефератов. Одним из первых выступил с рефератами А. Богданов на темы об энергетическом методе, о «познании с исторической точки зрения» и др. Выступали с докладами также Кистяковский, Бердяев, А. Суворов. Публики собиралось на эти доклады до 50—60 человек. Почти после каждого доклада бывали прения. Наиболее часто участвовали в прениях А. Богданов, А. Суворов, Н. Бердяев... Ан. Вас. (Луначарский. — А. Е.) успешно воевал с Н. Бердяевым и его последователями. Помню, что после одного блестящего диспута А. В., оперировавший против идеалистов идеями знаменитого философа Э. Маха, эффектно закончил свою речь шутливой фразой: «Единым Махом — семерых побивахом»... Идеалисты в лице Н. Бердяева

бывали обыкновенно биты, но нисколько этим не смущались; разбитые на земле на основании науки и логики, они уходили на небо (по словам А. Богданова), в область трансцендентного, и там, где не приложимы методы ни науки, ни логики, конечно, оставались непобедимыми.

[И. Е. Ермолаев. Мои воспоминания]³

* * *

Вообще докладов читалось в то время в Вологде очень много. На первом плане блистал Николай Ал. Бердяев, только что начавший переходить от идеалистически окрашенного марксизма к сумеркам мистики, из которых нырнул прямо в ночь философски интерпретированного православия. Эту эволюцию Бердяева, конечно, замечали, но изящество его речи и широкая культурность подкупали ссыльных и крутившуюся вокруг них молодежь. Мне пришлось с первых же рефератов выступить со всей резкостью именно против Бердяева. Сколько могу помнить, успех мой был очень велик и влияние Бердяева в нашей среде чрезвычайно ослабло. Сам Бердяев, несмотря на все мои приглашения приходить на мои рефераты и возражать мне, — туда не являлся.

[А. В. Луначарский. Из Вологодских воспоминаний]⁴

* * *

Когда-то давно, среди снегов Вологды, я с грустью констатировал, как блестящий молодой марксистский писатель, первая статья которого о Фридрихе-Альберте Ланге появилась в тогда для нас казавшемся недосыгаемым журнале «Neue Zeit» с большим одобрением тогда непререкаемого нашего учителя Каутского, быстро отходил от марксистских и революционных позиций в сторону туманной и даже черной мистики. Бердяев, бывший тогда в ссылке вместе со мною, получил отпуск в Житомир и, кажется, именно там встретился с Булгаковым. Вернувшись назад, он со сверкающими от удовольствия глазами говорил мне: «Вот смелый человек, он уже договорился до веры в Христа».

Когда я рассказал это жившему тогда в том же городе Александру Богданову, то Богданов изрек такое предсказание: «Вообще Бердяев безнадежен и необходимо превратится через не-

большое количество лет в черносотенного писателя». Мне в то время казалось это невозможным, но вся эволюция Бердяева была именно такова. Правда, он не обогнал свой образчик — Булгакова. Если Бердяев, начавший с марксизма, договорился до философски истолкованного православия, но тем не менее православия глубоко церковного и даже изуверского, то Булгаков сам пошел в священники и, как ходят слухи, даже подписывал какие-то погромные антисемитские прокламации.

Но Бердяев всегда казался мне человеком, живущим главным образом жизнью нервов, человеком, физически глубоко больным и очень склонным эпатировать свою аудиторию.

[А. В. Луначарский. Дальше идти некуда]⁵

* * *

Наши собственные дела, однако, не ждали. Еще с лета, даже летом, началась наша журнальная перестройка. Общее положение было сложно: во-первых, не было средств и все наши усилия достать где-нибудь денег для продолжения журнала были напрасны. Затем, новый наш редактор Д. Философов справедливо нашел, что при данных обстоятельствах журнал должен посвящать больше внимания общественно-политическим вопросам, а для этого у нас не имелось ни сотрудников, ни помощников... Где искать людей, которые могли бы поставить и вести журнал в области общественно-политической? Таких притом, с какими наш журнал не утерял бы совершенно и окончательно первоначального своего облика и главного задания.

Кроме группы «идеалистов» (бывших марксистов) не было никого. Что они от марксизма отказались, и плотно, это знали все. Даже больше: они явно склонялись к религии.

И Философов придумал послать нового секретаря Георгия Чулкова к этой группе для переговоров: не найдут ли они для себя возможным соединиться с нами для общего ведения журнала «Новый путь»? Они его не могли же не знать, могли, значит, и ответить на это определенно.

Из группы, которую возглавляли тогда С. Булгаков и Н. Бердяев, мы последнего уже знали, но в эти месяцы «идеалисты» находились где-то на юге, куда к ним и отправился Чулков, заранее в отчаянии и сомнении — удастся ли его миссия.

Миссия удалась, и с книжек осенних политическая часть уже находилась в руках С. Булгакова и людей «иже с ним». В редакции «Нового пути», в Саперном переулке, повеяло иным возду-

хом, сказать по правде — как бы чужим, да и люди, которых привели с собой главные «идеалисты» — Штильман и др., — тоже казались нам чужими. Розанов совсем скис и в редакцию почти не приходил. А раньше — отовсюду забегал, хоть на минутку.

Д. С., мечтавший о «*религиозной общественности*», тоже перестал понимать проводимую в «Новом пути» реформу и очень охладил к журналу. Уж очень вдолге, когда «идеалисты» обратились в людей «религиозных», я где-то написала статью, что на политике С. Булгакова, горячем поклоннике теперь Вл. Соловьева, никак не видно отражения его религиозности. Д. С. сказал: «Разве ты не помнишь, я тебе говорил это в самом начале!»

Мы все, как новички, скромно отделились тогда от журнала в его «общественной» части. Нам была предоставлена область литературы и литературной критики. Но скоро и тут начались трения...

Такие трения все умножались, и мы стали подумывать просто передать им журнал. У нас, кстати, уже назревали другие планы. И с «идеалистами» — видно было — нам пока что не по пути.

Между тем, с одним из них, с Н. Бердяевым, мы лично очень подружились. Особенно я. Случалось, наши с ним разговоры затягивались «далеко за полночь». Разговоры больше метафизические, так как от всякой мистики и религии он был еще на порядочном расстоянии. Мистическое чувство он, по его словам, испытал лишь раз, когда где-то в лесу за ним молча ходила неизвестная черная собака. А что касается религии... то он, опять по его собственным словам, все время колебался «между идеалом Мадонны и идеалом содомским».

Помню, я однажды вышла из терпения и уже в передней, поздно, кричала ему: «Да вы хотите, чтобы был Бог, или вы не хотите?»

А на следующий вечер он опять приходил и опять начинались наши дружеские споры.

[З. Н. Гиппиус. Дмитрий Мережковский]⁶

* * *

Евгения вспоминает характерные эпизоды жизни в имени Бабаки. В противоположность своей легко возбудимой натуре, Николай Александрович всегда обнаруживал умение держать-

ся хладнокровно в критических ситуациях. Однажды ранней осенью 1905 года, когда революционные волнения охватили страну, семья собралась в гостиной перед камином. В помещение вошла встревоженная прислуга. «Барыня, пожар! Они подожгли конюшню». — «Кто?» — спросила я. «Несколько парней из деревни, они убежали», — закричала служанка. Все мы были удивлены и расстроены, потому что мои родители всегда находились в отличных отношениях с крестьянами. «Что делать? Ведь они спялят и дом тоже», — сказала моя мать. Был поздний вечер. Красное пламя освещало окна. Мы сходили с ума, зная, что никто не жил в округе в пределах двух верст и что помощи ждать не от кого. Только Николай Александрович был спокоен. «Мы должны вывести лошадей, я пойду».

Через некоторое время он возвратился и так же спокойно сказал: «Лошади в безопасности. Мы не можем остановить огонь, но дому он не угрожает. Ложитесь спать, я буду охранять имение». Он взял револьвер, спокойно зарядил его и снова вышел. Это был тревожный год как в деревне, так и в городе.

Евгения Рапп вспоминает другой случай. «Однажды я гуляла по аллее нашего парка, когда вдруг Николай Александрович прервал разговор и кинулся в сторону луга, что-то сердито крича. Я увидела парней и девчат, вставших с земли и безавших. По возвращении Николай Александрович на мой вопрос ответил: «Они осмеливаются крутить свои любовные шашни прямо при свете дня — отвратительно». На следующий день, когда мы обедали на террасе, в дальнем конце аллеи появилась толпа деревенских парней с дубинками в руках. «Ни, беги! — воскликнула мама. — Они тебя убьют». Она поняла, что это было мезью толпы, которую преследовал один человек. Но вместо этого Николай Александрович встал и быстро пошел навстречу приближавшейся толпе. Толпа остановилась. «Убирайтесь», — крикнул Николай Александрович. Голос Николая Александровича, обычно спокойный, в моменты гнева обретал почти нечеловеческую силу, ему трудно было противостоять. Поднимая палки, парни быстро окружали его. Я никогда не забуду этих минут смертельной опасности. Николай Александрович быстро выхватил свой револьвер (несмотря на свою нелюбовь к насилию, он всегда носил револьвер), выстрелил в воздух, и толпа рассеялась и разбежалась».



Лет двадцать тому назад в Москве двое приятелей часто ходили в трактир Чуева на Рождественке потолковать о своих книжных делах.

Это были историограф Н. П. Бочаров и букинист А. А. Астапов. У Астапова в двух шагах от трактира, в Проломных воротах, была книжная лавка. Пока мальчик рылся в лавке, отыскивая нужную Н. П. Бочарову книгу, приятели сидели за чайком. Кто в «старой Москве» не знал этих двух людей?..

Трактир грязный, в подвале — яма какая-то. Со стен течет, ползают мокрицы. Но это нисколько не мешает задушевному разговору.

Приятели сделали «Яму» своей резиденцией. Около них всегда масса знакомых. Сидят, беседуют. От книги и русской старины один шаг до Бога. Даже шага нет. Русский простой человек именно в трактире больше всего любит говорить о Божественном. За книжками в трактир потянулись «богоискатели».

Появилась библия. Стали спорить. Дальше — больше, и «Яма» сделалась Меккой для людей, любящих религиозные разговоры... «Яма» была местом, где можно было до известной степени узнать о религиозной мысли всей России.

Все секты, толки, течения имели здесь своих представителей. В «Яме» собирались по воскресеньям. Много было постоянных посетителей, всегда были и «проезжие». Одни уезжали, другие приезжали. Сталкивались, спорили и разносили по стране готовые мысли, свежие слухи. Целый ряд известных лиц в разное время посетили «Яму». Были В. Г. Чертков, П. Д. Боборыкин, Е. Н. Чириков, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, А. М. Бодянский, Ф. А. Страхов, И. П. Брихничев, П. В. Великанов и др. Сам Л. Н. Толстой хотел побывать в «Яме», но не мог этого осуществить до сих пор...

После запрещения «Ямы» я видел ямцев, кучками беседующих в разных трактирах Москвы. Библии у них нет на столе — боязно. Но в руках — маленькое Евангелие. Лица оживлены. Нужно заметить, что в последнее время, когда стал проходить столбняк реакции, в сектантском мире Москвы началось опять сильное движение. Мысль снова заработала быстрым темпом. Весной 1910 года в «Яму» «спускались» С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев с кучкой своих последователей. Недели две «Яма» волновалась, спорила. Прения приняли интересный характер. Но... узнала полиция и г. Булгаков с Бердяевым уже не появлялись в «Яме». Опять наступил перерыв затишья. Потом —

снова подъем. И так далее. Борются с «Ямой» полицейскими мерами трудно.

[«Яма»]⁸

* * *

Особенно видною фигурою за зеленым столом является философский спутник Булгакова Бердяев. Оба начали с марксизма, оба эволюционировали к идеальному, и вот оба горячо защищают славянофильскую идею христианской культуры — строят, каждый по-своему, на Хомякове, Достоевском и Соловьеве русскую христианскую философию. По внешности, темпераменту и стилю Бердяев — полная противоположность Булгакову. Он не только красив, но и на редкость декоративен. Минутами, когда его благородная голова перестает подергиваться (Бердяев страдает нервным тиком) и успокоенное лицо отходит в тишину и даль духовного созерцания, он невольно напоминает колористически страстные и все же духовно утонченные портреты Тициана. В горячих глазах Николая Александровича с золотой иронической искрой, в его темных, волнистых, почти что до плеч волосах, во всей природе его нарядности есть нечто романтическое. По внешности он скорее европейский аристократ, чем русский барин. Его предков легче представить себе рыцарями, гордо выезжающими из ворот средневекового замка, чем боярами, согбенно переступающими порог низких палат. У Бердяева прекрасные руки, он любит перчатки — быть может, в память того бранного значения, которое брошенная перчатка имела в феодальные времена.

Темперамент у Бердяева боевой. Все статьи его и даже книги — атаки. Он и с Богом разговаривает так, как будто атакует Его в небесной крепости.

Подобно Чаадаеву, писавшему, что он почел бы себя безумным, если бы у него в голове оказалось больше одной мысли, Бердяев — определенный однодум. Единая мысль, которою он мучился уже в довоенной Москве и которою будет мучиться и на смертном одре, это мысль о свободе*. Многократно меняя свои теоретические точки зрения и оценки, Бердяев никогда не изменял ни своей теме, ни своему пафосу: как марксист он защищал экономическое и социальное раскрепощение масс, как идеалист — свободу духовного творчества от экономических

* Книга писалась еще до войны. Бердяев умер в 1948 году.

баз и идеологических тенденций, как христианин он с каждым годом все страстнее защищает свободное сотрудничество человека с Богом и с недопустимую подчас запальчивостью борется против авторитарных посягательств духовенства на свободу профетически-философского духа в христианстве. На исходе средневековья Н. А. Бердяев, несмотря на свое христианство, мог бы кончить свою жизнь и на костре...

Выученики немецких университетов, мы вернулись в Россию с горячей мечтою послужить делу русской философии. Понимая философию как верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее эпохальных и национальных разновидностях, мы, естественно, должны были с самого начала попасть в оппозицию к тому доминировавшему в Москве течению мысли, которое, недолюбливая сложные отвлеченно-методологические исследования, рассматривало философию как некое сверхнаучное, главным образом религиозное исповедничество. Правильно ощущая убыль религиозной мысли на Западе, но и явно преувеличивая религиозность русской народной души, представители этого течения не могли не рассматривать наши замыслы как попытку отравить религиозную целостность русской мысли критическим ядом западного рационализма.

Живо помню, как вскоре после выхода в свет первого номера «Логоса», который я принял из рук Кожебаткина с таким же незабвенным трепетом, с каким в 16 лет услышал первое признание в любви, а в 28 — первый раскат австрийской артиллерии, я спорил на эту тему с Н. А. Бердяевым в уютной квартире сестер Герцык, пригласивших нас к себе после какого-то доклада.

Сестры Герцык принадлежали к тем замечательным русским женщинам, для которых жить значило духовно гореть. Зная меня с фрейбургских времен, они, очевидно, хотели сблизить меня со своим старым другом. Мне было 26 лет, Николаю Александровичу — 36. Он был уже известным писателем, мною была опубликована только еще одна статья в «Русской мысли»: «Немецкий романтизм и русское славянофильство». Силы были неравные, но спорили мы одинаково горячо — с преклонением перед истиной, но без снисхождения друг к другу, не дебатировали, а воевали. Мастер радикальных формулировок, Бердяев в тот вечер впервые вскрыл мне исходную сущность всех расхождений между «Логосом» и «Путем».

«Для Вас, — нападал он на меня, — религия и церковь — проблемы культуры, для нас же культура во всех ее проявле-

ниях — внутрицерковная проблема. Вы хотите на философских путях прийти к Богу, я же утверждаю, что к Богу прийти нельзя, из Него можно только исходить: и лишь исходя из Бога, можно прийти к правильной, т. е. христианской, философии».

Прекрасно помня бердяевскую атаку, я не помню своей защиты. Помню только, что защищаться было трудно. Бердяев увлекал меня силой своей интуитивно-профетической мысли, но и возмущал той несправедливостью и той неточностью, с которыми он говорил о моих тогдашних кумирах и учителях — о Канте, Гегеле, Риккертe и Гуссерле.

Охваченный пафосом свободы (он только что выпустил свою «Философию свободы»), он с непонятным для меня самоуправством превращал кантианство в «полицейскую философию», риккертанство — в проявление «индусского отношения к бытию» (тема, впоследствии развитая Андреем Белым в «Петербурге»), Гегеля, которого мы считали мистиком, — в «чистого рационалиста».

С годами я сжился со стилем бердяевского философствования, но в свое время он не только захватывал меня вдохновенностью своей проповеди, но и оскорблял своей сознательной антинаучностью.

Одним из первых «добрых европейцев» покинул Бердяев задолго до войны 1914 года духовную родину нашего поколения — либерально-гуманитарную культуру XIX века; одним из первых почувствовал он, что та жизнь, которою жили наши отцы и деды, которою жили и мы, приходит к концу, что наступает новая эпоха: безбожная, духоненавистническая, но в то же время творческая и жертвенная, во всем радикальная, ни в чем не признающая постепенности, умеренности и серединности, та эпоха, о которой Маяковский впоследствии скажет в своем акафисте черту:

Провалились все середины,
Нету больше никаких средин.

Морализирующее отношение к истории, конечно, неправильно, так как не только все великое, но даже и святое неизменно вырастало из таинственного сотрудничества добра и зла: исторически ведь и Христос неотделим от Иуды. Но все же меня всегда мучила та страстность, с которою Бердяев «профетически» торопил гибель испытанного прошлого и выкликал из тьмы неизвестно еще чем чреватое будущее. Философия Бердяева всегда была максималистична. В противоположность

во многом близкому ему по духу Соловьеву он недооценивал относительные ценности; право было для него в некотором смысле «могилою правды», законность — фарисейством, гносеология — болезнью бытия.

Для Бердяева характерно, что, рано отрекшись от теории экономического материализма, он навсегда удержал в своем философском хозяйстве понятие буржуазности. Борьба против духовной буржуазности — одна из центральных тем бердяевского творчества. Эта борьба роднит его с Ницше, к которому он искони влекся как к пророку назревающего кризиса буржуазной культуры и которому временами слишком легко прощал его ненависть к христианству.

Вспоминая довоенную Москву, в свете современных событий я не в силах подавить в себе ощущения, что философия Бердяева и искусство Белого были своеобразным «небесным прологом» столь же великой, как и страшной, русской революции...

[Ф. А. Степун. Бывшее и несбывшееся]⁹

Е. К. Герцык
Н. А. БЕРДЯЕВ

1

Вечер. Знакомыми арбатскими переулочками — к Бердяевым. Квадратная комната с красного дерева мебелью. Зеркало в старинной овальной раме над диваном. Сумерничают две женщины, красивые и приветливые — жена Бердяева и сестра ее. Его нет дома, но привычным шагом иду в его кабинет. Присаживаюсь к большому письменному столу, творческого беспорядка никакого, все убрано в стол, только справа-слева стопки книг. Сколько их: ближе — читаемые, заложенные, дальше — припасенные вперед. Разнообразие: Каббала, Гуссерль и Коген, Симеон Новый Богослов, труды по физике, а поодаль непременно роман на ночь — что-нибудь изысканное у букиниста: «Мельмот Скиталец». Прохаживаюсь по комнате: над широким диваном, где на ночь стелется ему постель, распятие черного дерева и слоновой кости вместе его в Риме купили. Дальше на стене акварель — благоговейной рукой изображена келья старца. Рисовала бабка Бердяева: родовитая киевлянка, еще молодой она подпала под влияние схимника Парфения.

Было у него необычное в монашестве почитание превыше Христа и Богоматери — Духа Святого. Иносказаниями учил жизни в духе. Молодая женщина приняла тайный постриг, т. е., продолжая жить в миру, неся обязанности матери, хозяйки богатого дома, втайне строго выполняла монашеский устав молитвословия и аскетизма. Муж лишился красавицы-жены, и это так озлобило его, что даже после ее смерти, в старческом слабости, прогуливаясь с палочкой по Крещатику, замахивался на каждого встречного монаха — сколько их встречалось в старом Киеве! Дети выросли неверами: отца Бердяева я видела стариком — он смешил запоздалым стародворянским вольтерьянством. А вот внук... Со стороны матери другая кровь — родом Шуазель, родня в Сен-Жерменском предместье, хоть и пообедневшая, но столь чванная, что еще в начале этого века разъезжала по Парижу в отчаянно громыхавших колясках, презирая резиновые шины как буржуазно-демократическое измышление.

Душнее, слепее круга не сыщешь, но вдали — позади пышных царедворцев — предки рыцари, мечом ковавшие Европу своего времени. Много мертвых и цепких петель опутали, держат Бердяева. Отсюда, может быть, эти частые пароксизмы порывания со вчерашним уютом, со вчерашним кругом людей и идей, отсюда этот привычный жест как бы высвобождения шеи из всегда тугого крахмального воротника. А уют и старина сами собою обрастают вокруг него... Так и живет он среди двух борющихся тенденций — разрушать и сохранять.

Когда я с ним познакомилась, еще не было этой памятной многим московской квартиры, из которой в двадцать втором году я провожала его в изгнание. Он был бездомным, только что порвавшим с петербургским кругом модернистов, с «Вопросам жизни», где был соредактором с Мережковским, тянувшим его в свое революционно-духовное деланье. Бездомный, переживший лихорадку отращения и вдруг опять помолодевший, посветлевший, полный творческого бурления — как он мне был нужен такой весной девятого года...

С осени он с женою поселился в Москве в скромных меблированных комнатах — всегда острое безденежье, но убогость обстановки не заслоняла врожденной его барственности. Всегда элегантный, в ладно сидящем костюме, гордая посадка головы, пышная черная шевелюра, вокруг — тонкий дух сигары. Красивая, ленивая в движениях Лидия Юдифовна в помятых бархатах величаво встречала гостей. И за чайным столом острая, сверкающая умом беседа хозяина.

Совсем недавний христианин, в Москве Бердяев искал сближения с той, не надуманной в литературных салонах, а подлинной и народной жизнью Церкви. Помню его в долгие великопостные службы в какой-то церкви в Зарядье, где умный и суровый священник сумел привлечь необычных прихожан — фабричных рабочих. Но как отличался Бердяев от других новообращенных, готовых отречься и от разума, и от человеческой гордости!

Стоя крепко на том, что умаление в чем бы то ни было не может быть истиной, быть во славу Божию, он утверждает мощь и бытийственность мысли, борется за нее. Острый диалектик — наносит удары направо, налево, иногда один быстрый укол... Душно, лампадно с ним никогда не было. И чувство юмора не покидало его. Случалось, мы улыбаемся с ним через головы тогдашних единомышленников его, благочестивейших Новоселова и Булгакова.

В маленькую мою комнату на Солянке в разные часы дня заходит Бердяев, взволнованно спешит поделиться впечатлением. Под Москвой была Зосимова Пустынь — как в дни Гоголя и Достоевского к оптинским старцам, так теперь сюда, в Зосимову Пустынь, шла за руководством уверовавшая интеллигенция Москвы. После поездки туда с каким мучительным, двоящимся чувством пересказывал мне Бердяев свои разговоры с особо чтимым отцом Алексеем, ни на миг не закрывая глаза на рознь между ними! А как хотел он полноты слияния со святыней православия! Подавленность — но сейчас же и гордая вспышка: «Нет, старчество — порождение человеческое, не Божеское. В Евангелии нет старчества. Христос — вечно молод».

Несколько раз я была с Бердяевым и его женою в знаменитом трактире «Яма» (кажется, на Покровке), где собирались сектанты разных толков, толстовцы, велись прения; захаживал и казенный миссионер, спорил нудно, впрочем, скромно. Кругом за столиком с пузатыми чайниками слушатели больше мещанского вида, но иногда и любопытствующие интеллигенты: религия в моде. Споры об аде — где он, реален или в душе? Волнует их вопрос о душе, о ее совершенствовании, о пути к нему: все они за эволюцию. «Бессмертники». Это — мистики, для них смерти уже нет и греха нет. Сияющий старик-говорун в засаленном пиджачке: «Не могу грешить, и хотел бы, да не могу!» Никита Пустосвят в лохмотьях, как босяк, — у этого какая-то путаная мистика времени: двигая перед лицом темными пальцами, трудно роняет слова — какие сочные — о том, что смерти нет. Сколько индивидуальностей, столько вер. Та

же страсть к игре мысли у этих трактирных, малограмотных, что и у философов, заседающих в круглом зале университета, а может быть, и более подлинная. Случалось, когда посторонние разойдутся, уйдет миссионер, останутся только самые заядлые, сдвинут столики, и Бердяев острыми вопросами подталкивает, оформляет их мысль, а потом не казенным, *своим*, огненным словом говорит о церкви, о вселенскости.

В эти годы возникло религиозно-философское издательство «Путь». В программе его — монографии о разных самобытных, неакадемических мыслителях русских: Чаадаеве, Сковороде, Хомякове, и вообще изучение русской религиозной мысли. Во главе издательства те же люди, что составляли ядро рел.-фил. общества. Не легковесная петербургская «христианская секция» — это затеяно солидно, по-московски, по-ученому и на солидной финансовой базе. Маргарита Кирилловна Морозова — красивая, тактично-тихая, с потрясающе огромными бриллиантами в ушах, почему-то возлюбила религиозную философию и субсидировала издательство. В ее доме бывали и собрания рел.-фил. общества, президиум заседал на фоне врубелевского Фауста с Маргаритой, выглядывающих из острогранной листвы. Умерший муж Морозовой был первым ценителем и скупщиком Врубеля. В перерыве по бесшумным серым коврам через анфиладу комнат шли в столовую пить чай с тортами — не все, а избранные. Морозова с величавой улыбкой возьмет меня под руку и повлечет туда вслед за другими — она, вероятно, и имени моего не знала, но видела, что со мной в дружбе и Бердяев, и Булгаков, и старик Рачинский, и славнейший гость петербургский Вячеслав Иванов: тут уже, у стола с зеленой скатертью, завязывался у меня оживленный разговор с одним, с другим. Наскучив темными одеждами, я сделала себе белое платье строгого покроя, отороченное темным мехом. Друзья видели в этом символ... Не было у меня тщеславней поры, чем эта, «о Божьем» и с подлинной тоской к Богу обращенная. Но подлинность эта была только наедине, в мои горькие или озаренные часы, с Бердяевым, потому что он и сам, чересчур сложный, видел насквозь путаную сложность мою. Все же другие — Булгаков, Эрн — с наивностью умилялись моему «обращению» и отходу от греховного декадентства, и я, не совсем лукавая, такую с ними и была.

Захаживал ко мне и старик Рачинский, просвещал в православии. Изумительная фигура старой Москвы: дымя папиросой, захлебываясь, целыми страницами гремел по-славянски из Ветхого Завета, перебивал себя немецкими строфами Гете,

и, вдруг размашисто перекрестившись, перебивал Гете великолепными стихирами (знал службы назубок), и все заканчивал таинственным, на ухо, сообщением из оккультных кругов — тоже ему близких. Подлинно верующий, подлинно ученый и, что важнее, вправду умный, он все же был каким-то шекспировским шутом во славу Божию — горсткой соли в пресном московском кругу. И за соль, и за знания, и за детскую веру его любили.

2

Встречи, разговоры, сборища у тех, у других, и вдруг разом все для меня поблекло, обезвкусилось. Издавна знакомое чувство отвращения ко всему, и прежде всего к себе самой... Почти неприязнь к Бердяеву. Уезжаю в Судак, перевожу немецкого мистика, заказанного мне издательством «Путь», — перевожу, глушу себя. Не отвечаю на письма Бердяева. И вдруг он сам приезжает — и с первой же встречи опять как близок! То, что во мне едва, и вяло, и бесплодно, всколыхнулось в нем ярим бунтом: назревает раскол с «Путем», с московскими православными. Рвутся цепи благочестия, смирения, наложенные им на себя. Боль от еще не пробившейся к свету *своей* правды.

Глазами вижу эту боль бледная, с длинными ногтями рука — рука мыслителя, не человека земных дел — чаще обычного судорожно впивается в медный набалдашник трости. Говорим полусловами, встречая один другого на полдороге. И в радости ежеминутных встреч растворяется, нет — заостряется, внутреннее противоречие каждого, приближая, торопя новое, освобождающее знание. При этом несоизмеримость наших умов, талантов, воля не играет роли: его огромной творческой активности, видимо, достаточно той малой духовной напряженности, которую он встречал во мне, как мне, чтобы сдвинуться с мертвенной точки, нужна была вся сила его устремленности. Равенство было полное, и равна была взаимная благодарность. Разговаривая, мы без устали, всегда спешным, все ускоряющимся шагом ходили по долине, карабкались горными тропинками. Иногда, опережая меня, он убегал вперед, я, запыхавшись, за ним и видела со спины, как он вдруг судорожно пригибает шею, как бы изнутри потрясенный чем-то. Случалось, мы не заметим, как стемнеет, внезапно над потухшим морем вдали вспыхнет мигающим светом Мэганомский маяк: раз — вспышка, два, три, четыре — нет, и опять: раз — вспышка. И таинственной, и просторней станет на душе от это-

го мерного ритма огня. Замолчим, удивимся, что, не заметив, ушли так далеко от дома.

Не впустую было его волнение тех дней и того года вообще — в нем рождалось и, как всегда бывает, рождалось трудно самое для него центральное: идея творчества как религиозной задачи человека. Может казаться, что мысль эта не нова, — кто не славит творчества? Однако религиозного оправдания его до Бердяева никогда не бывало.

На религиозном пути утверждались праведность, любовь, но не творчество. Обычно культ игры творческих сил связан с какой-то долей скептицизма, с отрицанием высшего смысла или с бунтом против него. Для него же, для Бердяева, идея творческой свободы человека неразрывно связана со страстным по-библейски богопочитанием. Да, ныне человек в свои руки перенимает дело творчества (мир вступил в творческий период), но не как бунтарь, а как рыцарь, призванный спасти не только мир, но и дело самого Бога. Да и вообще философскую мысль Бердяева так и хочется охарактеризовать как рыцарственную: решение любой проблемы у него никогда не диктуется затаенной обидой, страхом, ненавистью, как было, скажем, у Ницше, у Достоевского и у стольких. И в жизни он нес свое достоинство мыслителя так, как и предок его, какой-нибудь Шуазель, — свою Noblesse, потрясая драгоценным кружевом брыж, считая, что острое слово глубины мысли не укор, без тяжести, без надрыва храня про себя одного муки противоречий, иногда философского отчаяния. В этом и сила и слабость его. Интимных нот у него не услышишь. Там, где другой философ-мистик обнажит пронзенность своей души, покаянно падет перед святыней, он седлает Христа и паладином мчится в бой или — выдвигает его как выигрышную фигуру, как высшее, абсолютнейшее... Не умиляет.

Трещина между Н. Бердяевым и московским издательством все шире, обмен враждебными письмами; он спешит закончить монографию о Хомякове, деньги за которую давно прожиты, строит планы отъезда на зиму за границу с женою и ее сестрой, на родину творчества, в Италию, добывает деньги, закабаляет себя в другом издательстве, где просто толстая мошна коммерции, где не станут залезать в его совесть... В письмах делится со мною, зовет присоединиться к ним... В гневном письме Бердяев восклицает: «Я не допускаю, чтобы мы разошлись, я хочу

быть с вами, хочу, чтобы вы были со мной, хочу быть вместе на веки веков». Помню, как над этим письмом у меня буквально — так говорится — брызнули слезы: душа растопилась. Казалось, без этих слов не дожидала бы до вечера. Конечно, с ними в Италию! Но поехать мне удалось только в феврале. Я застала их в Риме — перед этим они долго прожили во Флоренции, объехали маленькие городки. В первый же наш вечер они повезли меня на Яникул, на эту вышку Рима, и оттуда в вечерней заре я смотрела на море красно-коричневых крыш, на дальний Палатин и вспоминала... Но — все бывает не так, как ждешь. Праздника наслаждения Италией с Бердяевым нет. Я опоздала. Два-три месяца он переживал, впитывал ее с ему одному свойственной стремительностью, потом щелкнул внутренний затвор, отбрасывая впечатления извне, рука потянулась к перу — писать, писать... А из Киева — тревожные письма о болезни матери, о запутанности денежных дел этой обнищавшей и избалованной семьи, которая привыкла к тому, что «Коля» выручит из всех бед, телеграммы, требующие его возвращения, а здесь — слезы жены, возмущенной эгоизмом стариков: нарушить так трудно давшуюся ему передышку... Мы зажили не по-туристски тревожно Просыпаюсь утром, не отдохнувшая после позднего сидения вечером, и спешу опять к нервно озабоченному Николаю Александровичу разговорить его тревогу, вдвоем пьем кофейную бурду с темными хлебцами (живем в бедном пансионе). Потом идем-не ждем медлительных сестер-идем разыскивать мозаики по старым базиликам. Заходим послушать служение братьев-доминиканцев: в черном с белым они ритмично движутся, читают в нос-в красивых лицах, в наклоне голов что-то античное, не христианское. А рядом — украинской вижу-Бердяев закрывает лицо нервно вздрагивающей рукой. Молится? На улице все мучительно забылось, мы шли и говорили о творчестве. Он: «Весь Ренессанс — неудача, великая неудача, тем и велик он, что неудача: величайший в истории творческий порыв рухнул, не удался, потому что задача всякого творчества — мир пересоздать, а здесь остались только фрески фронтоны, барельефы — каменный хлам! А где же новый мир?» Заспорив, мы запутались среди трамваев на Пьяцца Venezia, долго не могли попасть в свой <дом>. А ближе к дому, на нашем тихом холме бросив меня, он побежал вперед, ожидая новой зловещей телеграммы И потом он не любит Рима — «вашего Рима» — мне с вызовом. Мертвенная скука мраморов Ватикана с напыщенным Аполлоном Бельведерским грузные ангелы, нависшие над алтарями барочных церквей... Душа его

во Флоренции, Флоренция была ему откровением, он то и дело вспоминает ее. И вот мы вдвоем едем в поезде на несколько дней во Флоренцию — он хочет мне ее показать так, как увидел сам. Флоренция! Не знаю, люблю ли ее. Благоуханного нет в ней для меня. Как неверно, что Флоренция для влюбленных! Но постепенно проникаюсь едким вирусом ее Неутоленность, тоска, порыв. «Но сперва надо понять, откуда, из каких корней это...» Он ведет меня в дома — крепости, купеческие замки, разделенные один от другого переулочком в два метра шириной, бойница в бойницу, а в тесных хоробах только сундуки расписные: казна, деньги — вот их дворянские грамоты. Одни — скопидомы, другие — расточители. Все стяжатели. Потом синьория — народоправство. Все трезво жестоко без мечтательности. И расцвет искусств и ремесел. Как понять, что в такой полный час истории, в такой корыстной и упоенно творческой Флоренции все высшие достижения говорят о том, что нельзя жить на земле, тянутся прочь? Таков Ботичелли. Как и вся Флоренция, он — дерзновение творчества, создания небывшего, потому — впервые, и сюжеты у него свои — не одни традиционные мадонны, и тоска одиночества потому. Молча стоим перед «Весною», этой бессолнечной, призрачной весною, за которой не будет лета, не будет жатвы. В Уфицци минуя залы и картины, Николай Александрович быстро ведет меня к одной, им отмеченной. Полайола: три странника, трех разных возрастов три скорбно-задумчивые головы. О чем скорбь? Куда их путь? А вот эта его же на высоком цоколе Prudentia: руки и ноги аристократически утончены, широко расставленные глаза с холодным, невыразимо сложным выражением. Каким? Оглядываюсь на Бердяева. Впился пальцами в портсигар, давая исход молчаливому волнению. Как же властно над ним искусство! Флоренция мне ключ к нему. Он — к Флоренции. Но я изнемогала от усталости, от впечатлений. Домой! «Еще десять минут», — упрашивает он и влечет меня прочь из Уфицци узкими улочками, где едва разминуться с медленно пробирающимся трамваем, в церковь, в Бадию; не давая мне окинуть ее взглядом, к одной, одной только Филиппиниевской фреске: «Явление Богоматери св. Бернарду». Женский хрупкий профиль. Но он торопит меня смотреть на ее руку: так глубоко прорезаны пальцы, так тонки, что кажется, сохраняя всю красоту земной формы, рука эта уж один дух, уже не плоть. И восторг в глазах Бердяева выдает мне его тайну — ненависть к плоти, надежду, что она рассыплется вся. Помню, через несколько лет, в 15—16-м году, когда он впервые познакомился с кубизмом в живо-

писи, с картинами Пикассо, с каким волнением приветствовал он то, в чем увидел символ разрушения материи, крепости ее. До хрипоты кричал среди друзей о «распластовании материи», о «космическом ветре».

Беру его под руку, чтобы умерить, затормозить его бег. «Да, да, конечно; вы Рима любить, понять не можете...» Но думала я это уже после. И не тогда, когда мы вернулись в Рим: события, вести ускорились, и через несколько дней я провожала их в Россию — его, уже преодолевшего внутреннюю борьбу, уже мужественного, жену его, Лидию, с которой в Риме впервые сблизилась, заплаканную: точно предчувствуя будущее католичество, она с болью отрывалась от града св. Петра.

Додумала я это в мои одинокие блуждания по Риму. Если Флоренция вся порыв, то Рим — покой завершенности. Создался-то и он жестокой волей Империи, корыстью и грехами пап, замешан на крови и зле, но время, что ли, покрыло все золото тусклой паутиной, не видно в нем напряжения мускулов, восстания духа — невыразимая, всеохватная тишь. Земля — к земле вернулась.

3

Не перескажешь все те жизненные сочетания, в которые складывались мои с Бердяевым отношения. Вот мы живем вместе в Москве (1912—1913 гг.). Приютила нас созданная моей подругой школа... Утром и вечером сходились за чайным, обеденным столом в большом зале вместе с подругой и ее домочадцами или интимней — в бердяевской комнате, в моей. Это было после Италии. Николай Александрович начал писать свою самую значительную книгу «Смысл творчества», весь жил ею. Центральная тема ее — раскрытие творческой личности — сводила его с новыми людьми: его интересовали антропософы, но тут же он жестоко нападал на них, доказывая, что их «антропос» не человек вовсе, не живое единство, а туманное наслаение планов. Но в процессе спора он так раскрыт всему живому в чужой мысли, так склонен увлечься ею, что эти самые антропософы, философски побиваемые им, тяготели к нему. Вопросы гносеологии творчества сводят его с теоретиками искусства из «Мусажета», с Андреем Белым, с молодыми и рьяными неокантианцами — Степуном и другими. Всего труднее ему общение с философами православия: Булгаковым, Эрном, Флоренским: всегдашнее затаенное недоверие с их стороны, а с его — тоже затаенный, но кипящий в нем протест против их

духовной трусости. Заходит искусствовед Муратов. Он нам проводник на выставку икон — событие в художественной жизни тех лет, в собрании французской живописи у Щукина. Каждой новой встречей, каждым значительным разговором Бердяев делился со мной, но в многолюдстве, в мелькании городской жизни наши отношения не достигали той остроты, той пронзительности, как при встречах летом, в природе, один на один.

Я возвращаюсь осенью из-за границы после шести месяцев, проведенных сперва у Вяч. Иванова в Риме, потом по лечебным местам с больными из нашей семьи.

Списалась с Бердяевым, условились съехаться с ними по пути в Крым, в имении подруги на Украине... Я повторяла себе, внушала себе: да, потому и поехала в Мюнхен, потому вступила в Антропософское общество, что не могу больше жить так, как жила, — без ответственности, без подвига. Свобода в вере, свобода в неверии, слабость дружбы... Слова, слова — а дел нет. Я хочу же, наконец, дела, хочу служить миру. Пусть те, мюнхенские, чужды мне — тем вернее. Тут-то уж не услада... Но ему я ничего не скажу.

С террасы, где уже накрывали к завтраку, несли вареники, сметану, всякую деревенскую снедь, мы вдвоем спустились в широкую аллею, уходящую в степь. Темные липы, рыже-красные лапчатые клены. Говорили о чем-то безличном, дорожном. Но Николай Александрович, хмурясь, взглядывал на меня и перебил: «Что с тобою? — что-нибудь случилось?» И бесстрастным голосом я тотчас же рассказала ему. Не могла скрыть. Не глядя на него: «Не говори. Я все знаю, что можно сказать против Штейнера, и сама не в упоении ничуть. Но для меня в этом пути истина, вырывающая меня наконец из моего шатания духовного. Безрадостная, правда, но ведь и младенцу, отнятому от груди, сперва станет безрадостно, сухо... И однако...»

Он остановился, перегородив мне аллею, и почти закричал: «Но это же ложь, истина может быть только невестой, желанной, любимой! Ведь истина открывается творческой активностью духа, не иначе. А ты мне о младенце... И как же тогда она может быть безрадостной? Имей же мужество лучше сказать, что ты просто ничего не знаешь, все потеряла, отбрось все до конца, останься одна, но не хватайся за чужое»...

Он обрушил на меня поток прожигающих слов. С террасы нас звали. А мы, не слушая, ходили, ходили, говорили.

Вечером, усталая, смывая с себя вагонную пыль, отжимая мокрые волосы, я после многих дней в первый раз вздохнула легко: «И где это я читала, что имя Николай значит витязь, защитник? Смешной — как Персей, ринулся на выручку Андромеды, — кто это по мифу держал ее в плену? Но он совсем не переубедил меня...» Потом потянулись дни — обед, прогулки, общие разговоры, все только на час, на часы прерывало мучительный, все больное и стыдное обнаруживший во мне поединок — но сладостный, потому что в любви. Он бился за меня со мной. Вся трудность, вся свобода решения оставалась на мне, но этим разделением моей тяготы, моего смятения он дал мне лучшее, что человек может дать другому. Эти дни в Ольховом Роге связали нас по-новому.

Пламенный в споре, воинствующий, Бердяев не давил чужой свободой. Но повести за собой — только высвободить человека из опутавших его цепей. Насколько он умел быть терпимым, мириться с чужой правдой, показывает то, как он принял позднее переход жены в католичество, — и не это одно, а вступление ее в Доминиканский орден с подчинением всей жизни строжайшему монастырскому уставу. Глубоко расходясь с идеологией и практикой католичества, постоянно полемизируя с ним, Бердяев по-настоящему уважал верования жены, не отдалялся от нее и терпеливо сносил все домашние неудобства, все нарушения часов вставания, обеда и т. д. Он писал мне: «У Лили свой особый путь. Католичество ей много дало. Но у меня очень ухудшилось отношение к католичеству, более близкое знакомство с ним меня очень оттолкнуло».

4

В начале пятнадцатого года Бердяев, проводивший зиму в деревне под Харьковом, приехал в Москву прочесть лекцию; он остановился вместе с женою у сестры моей, у которой жила и я в ту первую военную зиму. Квартира в переулке у Новинского, снежные сугробы во дворе. Жили мы тихо, притаясь, оглушенные совершавшимся. С приездом Бердяевых хлынули люди, закипели споры. В один из первых дней Николай Александрович, возвращаясь с какого-то собрания, поскользнулся и сломал ногу. Когда его вносили в дом, он деспоривал с сопровождавшим его знакомым на какую-то философскую тему. Потом два месяца лежания, нога во льду, в лубках, сращение перелома затянулось. Друзья и просто знакомые навещают его. Телефонные звонки, приходы, уходы, все обостряющиеся споры

между ним и Булгаковым, Вяч. Ивановым, которых захватил шовинистический угар. Приезжие из Петербурга, с фронта. Судебный процесс: Бердяев привлечен за статью против Распутина, модный адвокат навещает его, кадеты, которых ни тогда, ни после — в эмиграции, он не терпел, восхваляют его... Новыми были хлынувшие из Варшавы беженцы-поляки, у некоторых из них создается живой контакт с Бердяевым, разговор переходит на французский язык, на очереди вопросы польского мессианизма. На нашем, давно молчавшем пианино играет Шимановский, талантливый композитор-новатор. Сколько-то польской крови было у Бердяева, какая-то из прошлого связь с верхушкой польской интеллигенции: крестной его матерью была вдова Красинского, крупного поэта, продолжателя идей Мицкевича и Словацкого. Николай Александрович глубоко переживал трагическую судьбу этого народа. Вообще в это время у него обострился интерес к вопросам национальностей. Не так, как у славянофилов или тогдашних эпигонов их, чувствующих только одну свою народность, — он же остро вникал в особенности каждой нации. В ту пору повальной германофобии он напечатал этюд о германском духе с исключительно высокой оценкой его. Но так же, как шовинизм, ненавистен ему и пацифизм, уклонение от ответственности за судьбу родины. Любовь к России как вино ударила ему в голову. И все это было связано с самыми глубокими корнями его философии. Он сам как-то писал мне: «В моих идеях по философии истории есть что-то определяющее для всего моего мирозерцания и, быть может, наиболее новое, что мне удается внести в чистое познание».

Не знаю, что именно он здесь понимает. Меня же вдохновляло то, что его чувство человеческого «я» не теряет в яркости и силе, когда он рассматривает это «я» в свете истории. «Да, путь человека к все-человечеству — через дебри истории, через национальность, но нация — тоже лицо, и человек, как часть нации, сугубо личен. Каждая человеческая песчинка, уносимая и терзаемая вихрем истории, может, должна внутри себя вмещать и нацию, и человечество. Судьба народов и всего человечества моя судьба: я в ней и она во мне. Да и это слишком узко. Человек не муравей, и самый устроенный муравейник будет ему тесен. Социологи слишком часто забывают, что есть глубокие недра земли и необъятные звездные миры... А между тем подлинные достижения человеческой общественности связаны неразрывно с творческой властью человека над природой. Но этого не достигнуть одной техникой, для этого нужна само-

дисциплина, иная, высшая степень овладения собой, своими собственными стихиями... человек...»

Волнуясь, он повышает голос, силится приподняться, морщится от боли; с этой вытянутой ногой, в лежащем положении на диване (ненавидит все мягкое, расслабляющее) ему трудно выразить всю действенность своей мысли.

Я подсказываю: ну да, весь космос — тайный орден и преследует тайные цели. В нем степени посвящения, мастера, подмастерья. Имя мастера — человек. А ты — великий магистр ордена. Так? — «Насмешница!» — Но доволен.

5

Вышла книга Бердяева «Смысл творчества». Толстый том. Сотни пламенных, парадоксальнейших страниц. Книга не написана — выкрикнута. Местами стиль маниакальный: на иной странице повторяется пятьдесят раз какое-нибудь слово, несущее натиск его воли: человек, свобода, творчество. Он бешено бьет молотком по читателю. Не размышляет, не строит умозаключений, он декретирует.

Открываю наугад — какие сказуемые, т. е. какая структура словесного древа: мы должны... необходимо, надо, чтобы... возможно лишь то-то, а не то-то... Повеления. Это утомляет и раздражает читателя. Не меня. Посягательства на мою свободу я в этом не вижу. Вижу, т. е. слышу, другое. *Голос* книги многое говорит мне о судьбе ее автора...

Тьма, ничто, бездна, ужас тьмы — вот что для Бердяева в основе бытия, вот в чем корни божественного миротворчества и бездонной свободы человеческого духа. Но эта же тьма, бездна, снова настагает светлый космос и человека и грозит поглотить их — отсюда необходимость творчества во что бы то ни стало, отсюда центральное место творчества в идеях Бердяева: твори, не то погибнешь... Конечно, это всего лишь грубый намек на внутреннее зерно, хочется сказать — на потаенный мир его философии, нигде полностью им не раскрытый, хотя он постоянно ходит вокруг. В одном письме он говорит: «Я часто думаю так: Бог всемогущ в бытии и над бытием, но Он бессилен перед “ничто”, которое до бытия и вне бытия. Он мог только распяться над бездной этого “ничто” и тем внести и свет в него... В этом и тайна свободы (т. е. как человек может быть свободен от Бога). Отсюда и бесконечный источник для творчества. Без “ничто”, без небытия, творчество в истинном смысле слова было бы невозможно... Спасение же, о котором говорится в Еванге-

лии, есть то же творчество, но ущемленное сопротивлением “ничто”, втягивающим творение обратно в свою бездонную тьму. Тут у меня начинается ряд эзотерических мыслей, которые я до конца не выразил в своей статье “Спасение и творчество”».

Словесная форма этих бердяевских мыслей сложилась под влиянием мистики Якова Беме. Яков Беме — исключительное явление в истории христианской мысли. Не век ли Возрождения, к которому он принадлежал, бросил на него отблеск своего титанизма и возвеличения человеческой личности? Правда, что все это по-средневековому окрашено у него натурфилософски, отдает алхимической лабораторией: сера, огонь, соль и т. д. Близок он Бердяеву в том, что для обоих мировой процесс — борьба с тьмою небытия, что оба ранены злом и мукой жизни, обоими миссия человека вознесена необычайно.

Но и задолго до знакомства с Беме Бердяев в личном подсознательном опыте переживал этот ужас тьмы, хаоса. Помню, когда он бывал у нас в Судаке, не раз среди ночи с другого конца дома доносился крик, от которого жутко становилось. Утром, смущенный, он рассказывал мне, что среди сна испытывал нечто такое, как если бы клубок змей или гигантский паук спускался на него сверху: вот-вот задушит, втянет его в себя. Он хватался за ворот сорочки, разрывал ее на себе. Может быть, отсюда же, от этого трепета над какой-то бездной, и нервный тик, искажавший его лицо, судорожные движения рук. С этим же связаны и разные мелкие и смешные странности Бердяева — например, отвращение, почти боязнь всего мягкого, нежащего, охватывающего: мягкой постели, кресла, в котором тонешь... Но эта темная, всегда им чувствуемая как угроза стихия ночи, мировой ночи, не только ужасала, но и влекла его. Может быть, так же, как Тютчева, кстати, любимого и самого близкого ему поэта. Ведь только благодаря ей, вырываясь из нее, рождается дух, свет. Все может раскрыться лишь через *другое*, через сопротивление. Диалектиком Бердяев был не по философскому убеждению, а кровно, стихийно.

6

Барвиха, живописнейшая... На высоком берегу Москвы-реки — там проводила я с Бердяевыми последнее их лето на родине. Четыре года отрезанности в Крыму, без переписки, без вестей, и вот, наконец, первый обмен письмами, и летом 22-го года я поехала к ним. После заточения в Судаке, после знойных

и суровых годов — прикоснуться к ласковой, насквозь зеленой русской земле! Бердяевы тоже в первый раз после революции выехали на дачу и наслаждались. С прекрасной непоследовательностью Николай Александрович, ненавистник материального мира, страстно любил природу, и больше всего — вот эту, простую, русскую, лесистую, ржаную. И животных: как бы ни был он захвачен разговором, в прогулке он не мог пропустить ни одной собаки, не подзвав ее, не поговорив с нею на каком-то собачье-человеческом языке.

Помню, в давние годы, заехав к ним на их дачку под Харьковом, я застала всю семью в заботе о подбитой галке, всего чаще она сидела на плече у Николая Александровича, трепыхая крыльями и ударяя его по голове, а он боялся шевельнуться, чтобы не потревожить ее. Теперь всю любовь бездетного холостяка он изливал на Томку, старого полуоблезлого терьера.

Я застала их еще в Москве — заканчивался зимний сезон, шли научные совещания, к ним забегали прощаться, уговаривались на будущую зиму. В их квартире, все той же, толпился народ, мне незнакомый.

Бердяев жил не прежней жизнью в тесной среде писателей-одиночек. Он — основатель Вольной Академии духовной культуры, читает лекции, ведет семинары, избран в Университет, ведет и там какой-то курс. Окружен доцентами. О политике не говорят — успокоились, устроились, только иногда кто-нибудь свысока улыбнется новому декрету. Плосковатые шутки насчет миллиардов: про водопроводчика, починившего трубу, — «вошел к вам без копейки, через полчаса вышел миллиардером». И серьезность и проникновенность в разговорах о церкви. Некоторых я знала раньше как самодовольных позитивистов или скептиков: теперь шепчут о знамениях, об обновившихся иконах — одни пламенные католики, другие православные — от ненависти? Обиды? Брезгливости? Я ежилась Сама не знала почему — не радовалась такому оцерковлению.

Годы военных ужасов, преследований, голода иссушили прежнюю веру, то есть всю влагу, сладость выпарили из нее. И в этом опять ближе Бердяев с его суровостью духа. В эти первые дни в Москве я переходила от элементарного чувства радости по забытому комфорту, книгам, еде досыта к новой тоске, к желанию спрятаться, допонять что-то, чего-то небывалого дожидаться. Только бы остаться наедине с Бердяевым. Знала, что ему все те, с кем он ведет организационные совещания, внутренне чужды. Мечтала: что, если б и он затих, замолк, вышел бы к чему-то совсем новому... Но, конечно, тишеть, молкнуть,

ждать — не в его обычае. Из уголка, где прикорнула на диване, различаю среди многих голосов *его* — его мысль, всегда вернейшую, самую острую, самую свободную. Улыбаясь, узнаю [часть страницы — одно слово — оторвана]... приемы: сокрушительным ударом бить в центр. Стратег. Голос повышается — уже других не слышно. Но почему-то вдруг мне кажется, что эта меткая, эта глубокая мысль — на холостом ходу. Размах мельничных крыльев без привода. И нарастают горечь и жальность.

Мы переехали в Барвиху — как в старину, из Москвы во все концы тянутся возы всякого людского добра. Устраиваемся в новом бревенчатом, пахнущем сосной доме. Приколачиваем полки — это буфет, мастерим письменные столики из опрокинутых ящиков, в первые дни — детски счастливы, будто вырвались, кого-то перехитрили... Лидия с рвением новообращенной ходит за мной с католическими книгами, вкладывает их мне в руки, когда ложусь отдохнуть. У них-то не на холостом ходу: все ввинчено одно в другое, штифтик в штифтик... Но... [часть страницы оторвана]... не по мне. Но, тронутая заботой о моей душе, — листаю книгу...

В памяти у меня от Барвихи разговоры и ненасытность в прогулках — полями, полями до дальнего Архангельского, где век Екатерины, или вдоль Москвы-реки до чудесного парка другой Подмосковной. Совсем близко — сосновый бор: там лежим на теплых иглах, читаем вслух, пересказываем друг другу быть этих лет. Возвращаясь домой, набираем целый мешок шишек для самовара. Этот вечерний самовар на тесном балкончике, потрескивающие и снопом взлетающие искры, тонкий, как дымок, туман снизу с реки — и близкие, без слов близкие люди. Сладость жизни, милой жизни, опять как будто дарованной, и тут же, тотчас же — боль гложащая... Внезапный звонок, и [одно слово неразборчиво]... до рассвета длящийся обыск, перечитывание писем, бумаг Бердяева. Он, спокойный, сидел сбоку письменного стола. Я, с бьющимся сердцем, входила, выходила. Было утро, когда его увезли. Через несколько дней Бердяев вернулся с вестью о высылке. Высылался он и многие другие. Не перспектива отъезда за границу — ему всегда была чужда и отвратительна эмигрантская среда, а само трагическое обострение его судьбы как будто развеяло давивший его гнет. Враг? Пусть враг. Лишь бы не призрачность существования...

Опять люди, прощанья, заканчиванье дел. Мы мало успевали говорить, но мне передавалась от него полнота чувства жизни, и не было места грусти от близящейся разлуки. Вечером,

накануне отъезда, Николай Александрович со своим Томкой на коленях поехал на другой конец Москвы — дамы, почитательницы его, наперебой предлагали взять собаку, и дома всесторонне обсуждался вопрос, которой из дам отдать предпочтение...

И все же из всех, кого я имела и кого потеряла, — его я потеряла больше всех...¹⁰

Андрей Белый

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ *

Приблизительно в это же время в мир мысли моей входит Н. А. Бердяев, переселившийся из Петербурга в Москву, передо мною встающий в этом именно круге, в котором привык я вращаться **; меня останавливает многострунная личность Бердяева, взявшего трепет эпохи в себя и все чаянья света, трагически потрясенная кризисом жизни, культуры, сознания, веры, расклеивающая с аподиктическим фанатизмом прегромкие ордонансы, энциклики интеллигенции русской; меня поразило в Бердяеве то, что он нас, символистов, вполне понимал (по писаньям его я не думал, что он так нам близок); блестящий мыслитель, прошедший отчетливо школу марксизма и лазивший в дебри критической мысли, владеющий Кантом, Когеном, Алоисом Рилем, Г. Риккертом, Наторпом, в них не увязший, столкнувшийся с православием отцов Церкви и старцев, с воззрением католиков, Мережковского, переживший Метерлинка, Ницше, поклонник Гюйсманса ***, обозревал он

* Из: «Начало века» (Берлинская редакция, т. III, гл. 1, л. 187—197; ГПБ, ф. 60, № 12).

** В этой части своих воспоминаний Белый описывает зиму 1907/8 г., когда он особенно сблизился с московским Религиозно-философским обществом. Бердяев переселился в Москву в начале 1908 г. См.: *Бердяев Н.* Самопознание. 2-е изд. Париж, 1983. С. 181—185.

*** В 1910 г. Бердяев читал лекцию о религиозной «драме» Гюйсманса (Joris-Karl Huysmans, 1848—1907) в Религиозно-философском обществе Москвы и Петербурга. См.: Утонченная Фиваида (религиозная драма Дюрталь-Гюйсманса) // Русская мысль. 1910. № 9; перепечатано как приложение в: *Бердяев Н.* Философия свободы. М., 1911. В «Смысле творчества» Бердяев пишет: «Я не знаю явления более трагического и по-своему героического, чем писатели-католики Франции XIX века, католики совсем особые... Я говорю о Барбе д'Оревилли, Э. Гелло, Вилье де Лиль-Адане, Верлене, Гюй-

огромное поле идей, направлений, сплетенье тенденций от Маркса до Штирнера, от иезуитов до Безант; ничто ему не было чуждым; он в поле идей себе выбрал утес *догматизма*, засел на утесе орлом; в нем сказалось стяжение многих тенденций, переработанных им; он казался не столько творцом мирозрения, сколько исправнейшим регулятором ряда воззрений, им стягиваемых в один узел с сознательной целью: отсюда проклады- вать рельсы к грядущему; был он скорее начальник узловых, важной станции мирового сознания; воззренье Бердяева — станция, через которую лупят весь день поезда, подъезжающие с различных путей; разбирая идеи Бердяева, трудно порой отыскать в них Бердяева: это вот — Ницше, то — Баадер, то — Шеллинг, то — Штейнер; а это вот, ну, разумеется, Соловьев, перекрещенный с Ницше; мировоззренье Бердяева только центральная станция; мимо платформы летят поезда с разных веток: Бердяев — заведующий движением станции, оригинален в порядках, которые он устанавливает в пропускании поездов или в градации расположения элементов воззрений; акцент его мысли — несение государственных функций среди пестрого населения собственной мысли; отсюда же его догматизм — волевой, беспощадный, слепой и насилующий совершенно сознательно спорящих в нем обитателей, чтоб не случилось свалки между ними; он вынужден взять меч иль жезл, чтоб нещадно бороться с наплывом народа (иль с элементами мировоззрений, ему где-то родственными, друг другу пречуждыми) — на центральную станцию сборища, именуемую «*мировоззренье Бердяева*»; тут, выходя из убежища, где заседает над планом скрещенных дорог, на платформу, где Макс Штирнер, Гюйсманс, Мережковский, Владимир Сергеевич Соловьев, Маймонид, Ницше, Штейнер, Иоанн Богослов, Августин, Раймонд Луллий оспаривают свое право проезда в ближайшую очередь; вынужден стать государственным человеком он; и — ордонировать: «Подать поезд Владимиру Соловьеву»; и даже: хранить станцион- ный порядок при помощи рослых жандармов, расставленных всюду; жандармы же те — произвол, установленный им в сочетании элементов воззрений; за произволом таится прозрение,

смансе, Леоне Блуа... Они были людьми нового духа, трепетавшего под реставрационными одеждами... В подлинном, благородном, аристократическом эстетизме была религиозная тоска. Тоска Гюйсманса не утолилась “утонченной Фиваидой” эстетизма — он переходит от эстетизма к католической мистике, кончает монастырем и жизнью своей вскрывает религиозные глубины эстетизма» (2-е изд. Париж, 1985. С. 277, 281).

интуитивное виденье «Я»; очень часто мне кажется, Н. А. Бердяев имеет виденья и откровенья в том, как ему поступать с пестрой смесью культурных своих устремлений; иначе в мгновение ока растекся <бы> весь «бердяизм»; опустела бы центральная станция; всюду открылись бы лишь автономные области, явно вывалившиеся из бердяевских книг: здесь бы вече собрал политический эконоом, там открыл бы Дивееву пустынь Святой Серафим, там бы Штейнер, явившийся из «*Философии свободы*» Бердяева, объявил бы, пожалуй, что это совсем не «бердяевство», а Дорнах; виденья шептывают Бердяеву непререкаемые откровения субординации и порядка; и он, исполняя веления, призывает жандармов; жандармы Бердяева — догматы, появившиеся не от логики вовсе, от воли Бердяева: строить вот эдак вот; воля же эта диктуется, вероятно, каким-нибудь дьяволическим голосом.

Часто он кажется в книгах, на лекциях, в ярких своих фельетонах слепым, фанатичным, безжалостным; в личном общении он очень мягок, широк, понимающ; имевшие случай встречаться с Победоносцевым нам рисуют Победоносцева понимающим, тонким и даже терпимым; но государственный пост его сделал глухим и слепым; государственный пост философии Н. А. Бердяева (не иметь своей собственной мировоззрительной виллы, заведовать станцией, через которую проезжают столь многие путешественники, провозящие идейную собственность) вынуждает его регулировать сложность путей сообщения совершенно практическими императивами «*Быть посему...*». Его догматы — это всегда лишь маневры и тактика: «*Быть посему, до... отмены ближайшим приказом...*» (приказами 900-х годов отменен был марксизм, отменен был кантизм, отменен был Д. С. Мережковский; приказами же десятых годов — отменилась церковность сперва, и Бердяев боролся с Булгаковым, отменялся царизм, как потом революция отменилась и отменилось лучшее его сочинение «*Смысл творчества*»^{*}. Нарушение приказа всегда угрожает ужасною катастрофою в государственном департаменте высших сообщений (культуры).

Да, да: философия эта есть пропуск едва ли не всех элементов культуры, уже обреченной на гибель, сквозь линию рельс, начинающихся от «Его» Бердяева к Голосу Божию, этому

* Смысл творчества. Опыт оправдания человека М.: Г. А. Леман и С. И. Сахаров, 1916. Второе издание, с разночтениями и дополнениями, выпущено как 2-й том его «Собрания сочинений» (Париж, 1985).

«Его» звучащему; до Бердяева вот период один был; а с появлением Бердяева рушится все, проходя сквозь него в опускающийся над ним — град небесный; от этого личность Бердяева переживает огромный кризис (еще бы: весь мир пропустить сквозь себя и не лопнуть!); а Николай Александрович относительно очень легко переваривает старый мир в себе, разбухая; приобретает печать Чела Века, Адама Кадмона*, напоминая Николая же Александровича, шествующего по Арбату в своем светлосером пальто, в мягкой шляпе кофейного цвета и в серых перчатках.

Подозреваю, что в миг, когда станет Н. А. проповедовать нам власть над миром Святейшего Папы, то <это> будет лишь значить, что интуиция, продиктовавшая новый догмат Бердяева, соединилась с ним навсегда и что Папа Святейший есть он — Николай Александрович, собирающий у себя на дому философские вечеринки, которые вовсе не вечеринки, а более того: совещания епископов; здесь — Карсавин, Франк, Лосский, Кузьмин-Караваев, Ильин, Вышеславцев, последней энциклою Бердяева-Папы назначенные на кардинальские должности, обязуются на заседаниях бердяевской академии объявить всему миру *«восьмой, и последний, вселенский собор»*.

Тот шарж мне встает неизменно, когда я прослеживаю общение с Н. А. Бердяевым в ряде годин, из которых растет его жизненный облик.

Высокий, высоколобый и прямоносый, чернявый, с красивыми раскиданными кудрями почти что до плеч, с очень черной бородкою, обрамляющей щеки; румянец на них спорил с матовой бледностью; кто он? Стариннейший ассириец иль витязь российский из южных уделов, Ассаргадон, сокрушавший престолы царей, иль какой-нибудь там Святослав, князь Черниговский или Волынский, сразившийся храбро с батыевым игом и смерть восприявший за веру в Орде? Разумеется, что атрибуты его — колесница иль латы — не эта же сшитая хорошо темно-синяя пара, идущая очень к нему, с малым пестрым платочком, выторчивающим из кармана, из верхнего, вовсе не

* Адам Кадмон (евр.) — «Адам первоначальный», «человек первоначальный», в мистической традиции иудаизма абсолютное духовное явление человеческой сущности до начала времен как первообраз для духовного и материального мира, а также для человека (как эмпирической реальности). См., например, статью С. Аверинцева в первом томе «Мифов народов мира» (1980), с. 43—44.

белый жилет, снова очень идущий к нему*; и красивый, и статный, с тенденцией к легкому пополнению (лишь за последние годы весьма похудел он), веселый, отважный и легкий, он как-то цветился во мне (реминисценция, вероятно, его ассирийского прошлого); пестрый платочек, синеющий галстук, пунцовые, тонкие губы, уютнейше улыбнувшиеся среди черных волос бороды и усов, и такие лазурные, чистые, честные, детские очи — все делало его непохожим на философа в первой беседе; в нем явственно простирало романское что-то; и что-то — от бонвивана, аристократа, немного ушедшего в круг легкомысленной пестрой богемы.

Я мысленно поворачиваюсь к Н. А.; он — встает передо мной: летом, ранней весной и поздней осенью, быстро и прямо идущим в своем светло-сером пальто, в шляпе светло-кофейного цвета (с полями), в таких же перчатках и с палкою, пересекающим непременно Арбат по направлению к Сивцеву Вражку, и где-то его ожидает (может быть, в том доме, где жил прежде Герцен и где суждено ему было впоследствии переживать революцию) — где-то его ожидает компания модных писателей, публицистов, поэтов, и барынь, затронутых очень исканием новых путей; там проявится мягкая, легкая статья, располагающая к философу, произведение которого часто пропитаны ядом отчетливо... нетерпеливых сентенций, порой дидактических.

В жизни он был — терпеливый, терпимый, задумчивый, мягкий и грустно-веселый какой-то; словами вколачивал догмат, а из-под слов улыбался адогматической грустью шумящей и блекнущей зелени парков, когда, золотая, она так прощально зардеет лучами склоненного солнца; когда темно-темно-вишневое облачко на холодном и бледно-зеленом закате уже начинает темнеть; и попискивают синицы; и дышит [возвышенною стыдливостью страдания воздух; такую] *возвышенною стыдливостью* выстрадавшего своего догматизма мне веял Бердяев из-за слов своих. Часто бывал он уютен и тих.

* Ср. описание в «Начале века» (М.; Л., 1933. С. 430): «Высокий, чернявый, кудрявый, почти до плечей разметавшийся гривую, высоколобый, щеками румяными так контрастировал с черной бородкой и синим, доверчивым глазом; не то сокрушающий дерзостным словом престолы царей Навуходоносор, не то — древний черниговский князь, гарцевавший не на табурете — в седле, чтобы биться с татарами.

Синяя пара, идущая очень к лицу; малый пестрый платочек, торчащий букетцем в пиджачном кармане; он — в белом жилете ходил; он входил легким шагом, с отважным закидом спины».

Нежно любящий псов и немного боящийся Гюйсманса, разыскивающий фабулы странные и подобные Честертоновым в литературе новейшей, он не был тяжел в буйном воздухе литературной богемы; не был легковесен в кругу отвлеченных философов он; всюду он появлялся с достоинством, совершенно врожденным, с тем тихим, не лезущим мужеством и готовностью пострадать за идеи, которые выдает без остатка, и рыцарство, и чувство чести.

Когда ж задевали его точку зрения, касаясь предметов познания, близких ему, начинал неестественно он волноваться и перекидывать ногу на ногу, перебирать быстро пальцами, отбарабанивать ими по краю стола или схватываться задрожавшей рукою за ручки под ним заскрипевшего жалобно кресла; не удержавшись, с головой он бросался тогда в разговорные пропасти, очень нервически двигаясь корпусом; вдруг разрывался его красный рот (он страдал нервным тиком), блистали отчаянно зубы в отверстии рта, на мгновение ставшего пастью, «озорно и обло» старавшейся вызевнуть что-то; шахлатая голова начинала писать запятые; глаза же вращались, так нервно подмаргивая; и, наконец оторвавшись руками от ручек скрипевшего кресла, сжимал истерически пальцы он пальцами под разорвавшимся ртом, чтобы спрятать язык, припадая кудлатой своей головой к горошиками заплясавшим пальцам, точно лояя запорхнувшую желтую моль пред собою (та моль — чужеродное мнение, долженствуемое быть раздавленным: тут же!); и после этого нервного действия вылетал водопад очень быстрых, коротких, отточенных фраз без придаточных предложений; в то время как левой рукою своей продолжал ловить «моль» из воздуха; правой, в которой оказывался непредвиденный небольшой карандашик, он тыкал отточенным карандашиком перед собой, ставя точку зрения в воздухе; этою точкою зренья своей, как мечом иль копьем, протыкал он безжалостно все, что входило в порядок его строя мыслей, как хаос, с которым боролся: свои убежденья тогда он высказывал с видом таким, будто все, что ни есть в этом мире, в том мире доселе — несло заблужденье; и сам Господь Бог, в ипостаси отеческой, мог ошибаться тут именно — до возведения человека в сан Господа (перед Второй Ипостасью Н. А. пасовал, потому что Второй Ипостасью он — как бы сказать, трудно выразить в некотором что ли смысле вводился в хозяйство Вселенной). И тут проявлялося в нем что-то пламенно-южное, чувствовался крестonosец-фанатик, готовый проткнуть карандашною шпагою сарацина-противника, даже (весьма, впрочем, редко) совсем раскричаться.

Казался в минуты такие он мне полководцем, гарцующим в кресле, которое начинало протяжнейше ржать, точно конь; вспоминалось, что

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему*.

А потом становился опять он уютным и мягким, тишайшим и грустным.

Воистину: в догматическом пафосе Н. А. Бердяева было порою несносное что-то; не то, чтоб не видел вокруг он себя ничего (Мережковский — не видел); он видел — все видел, но тактики ради себе представлялся невидящим; это-то вот раздражало.

Он был в душе воин; его карандашик был меч; он с охотой кидался рубить, колоть, протыкать; прямо с кресла — на площадь (как-то оказалось впоследствии: из кабинетика тихого переулка попал в Предпарламент, как прежде, весьма незадолго до этого из кабинетика выскочил он — в революцию: даже в манеже взывал он к гражданскому мужеству войск, приглашая на сторону революции их)**; напоминал тут он *князя*,

* Вторая строфа из стих. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829; см. также песню Франца в незаконченной пьесе 1836 г. «Сцены из рыцарских времен»).

** В «Самопознании» Бердяев пишет: «В октябре 17-го года я еще был настроен страстно-эмоционально, недостаточно духовно. Я почему-то попал на короткое время в члены Совета Республики от общественных деятелей, в так называемый “предпарламент”, что очень мне не соответствовало и было глупо... Впоследствии я стал выше всего этого» (2-е изд., с. 264). Там же, в примечании к тексту, Евгения Юдифовна Рапп, свояченица Бердяева, пишет: «В дни Февральской революции активность Н. А. выразилась лишь в одном необычайном, героическом поступке. Я очень хорошо помню этот день. Из Петербурга доносились вести о начавшейся революции. По улицам Москвы шли толпы, из уст в уста передавались самые невероятные слухи. Атмосфера города была раскаленной, казалось — вот-вот произойдет взрыв. Мы, Н. А., сестра и я, решили присоединиться к революционной толпе, которая двигалась к манежу. Когда мы приблизились, манеж уже был окружен огромной толпой. На площади около манежа стояли войска, готовые стрелять. Грозная толпа все ближе и ближе подходила, сжимая тесным кольцом площадь. Наступил страшный момент. Мы ожидали, что вот-вот грянет залп. В этот момент я обернулась, чтобы что-то сказать Н. А. Его не было, он исчез. Позже мы узнали, что он пробрался сквозь толпу к войскам и произнес речь, призывая

приявшего крест для борьбы с басурманами и превратившего крест в рукоятку меча.

Дома ж часто бывал так спокойно-рассеян, грустно-приветливый и очень хлебосольный, являлся воссидивать милым каким-то сатрапом на красное кресло из тихого кабинета, где только что быстро скрипевшим пером он прокалывал Д. Мережковского в бойком своем фельетоне, — для «*Утра России*» *; после боя чернильного с нами он ужинал, тихий, усталый, предоставляя всегда интересным, словоохотливым и талантливым Л. Ю. Бердяевой и сестре ее всю монополию мира идей; и внимал нам с сигарой во рту **.

В его доме было много народу; особенно много стекалось сюда громких дам, возбужденных до крайности миром воззрений Бердяева, спорящих с ним и всегда отрезающих гостя от

солдат не стрелять в толпу, не проливать крови... Войска не стреляли.

До сих пор мне кажется чудом, что здесь же на месте он не был расстрелян командующим офицером» (с. 262).

* В библиографии работ Бердяева (Bibliographic des oeuvres de Nicolas Berdiaev. Paris, 1979) составительница (Tamara Klepinine) приводит всего три его статьи, напечатанные в газете «Утро России» (№ 182 — 184 за 1914 г.), но газетная часть библиографии выглядит неполной. (При составлении комментария сама газета осталась нам недоступна). Возможно, что Белый перепутал «Утро России» с «Биржевыми ведомостями», где Бердяев очень активно сотрудничал в течение 1915 — 1917 гг. (печатался почти раз в неделю до начала 1917 г.) и где в действительности выступал против Мережковского (см., например, «О „двух тайнах» Мережковского», 17 сентября 1915 г., №15094). О Мережковском (1865 — 1941), с которым он сотрудничал в журнале «Вопросы жизни», Бердяев часто пишет в «Самопознании», например: «С самим Мережковским у меня не было личного общения, да и вряд ли оно возможно. Он никого не слушал и не замечал людей...» или: «...от Мережковского меня отталкивала двойственность, переходящая в двусмысленность, отсутствие волевого выбора, злоупотребления литературными схемами» (2-е изд., с. 162 и 184).

** Лидия Юдифовна (урожд. Трушева; 1889—1945) — о ней см. «Самопознание» (2-е изд., с. 156—157). О ее сестре, Евгении, умершей во Франции в 1960 г., см. там же (с. 156—157). В «Самопознании» он пишет (уже об эмигрантском периоде своей жизни): «У нас в доме по обыкновению собирались и беседовали на темы духовного порядка... Обыкновенно находили, что у нас хорошо и уютно. Но уют создавал не я, а мои близкие» (с. 231). О «многолюдной атмосфере» бердяевского дома см. также «Воспоминания» Евгении Герцык (Париж, 1973. С. 117—123, 128—130).

разговора с хозяином; скажешь словечко ему; ждешь ответа — его; но уж мчится стремительно громкая стая словесности дамской, раскрамсывая все слова, не давая возможности Н. А. Бердяеву планомерно ответить; да, да: было много идейных вакханок вокруг «бердяизма»; ты, скажешь, бывало, — то, это: «бердяинки» же поднимают ужаснейший гвалт:

— Что сказали Вы?

— Да!

— Нет!

— То — это!

— Неправда же: это есть то.

И — прикусишь язык; и Бердяев прикусит язык; и останется: встать и уйти.

Так слова разбивались словами «бердяинок»; тело живой сочной мысли, кроваво разъятое оргией мысли, рубилось на мелкие части; и далее: приготавливались «котлеты» бердяевских мнений; и дамы кормились «котлетами» этими, потчуя всех посетителей ими; от этих «котлет» уходил; и бывали периоды даже, когда я подолгу не шел на квартиру Бердяева, зная беспрокость общения с ним.

Н. А. Бердяев порой говорил нестерпимые, узкие, крайние вещи; но сам был не узок, а крайне широк, восприимчив и чуток, мгновенно вбирая идеи до ощущения «внутреннего воле-нья»: «Довольно: ты — понял уже».

И тогда над мыслителем, или течением мысли, искусства политики, ставился крест: *крестносец* Бердяев, построивши стены из догмата, сам становился на страже стены, отделившей его самого от хода им понятой мысли; себя он обуживал; пылкое воображение Бердяева воздвигало меру фантазии; эту химеру оковывал догматом он; оковав, никогда не вникал, что таилось под твердою оболочкою догмата; оборотную стороной догматизма его мне казался всегда химеризм; начинал он бояться конкретного знания предмета, проводя химеру в конкретном; и с этим конкретным боролся химерою, отполированной им под догмат: совсем химерический образ большого Гюйсманса оказывался догматически бронированным (бронированным Церковью); Штейнер, конкретный весьма, — принимал вид химеры*; тогда объявлял он крестовый поход против

* Бердяев «против Штейнера» — см. ст. «Типы религиозной мысли. 1. Теософия и антропософия» (Русская мысль. 1916. № 11. С. 1—19 — вторая пагинация). См. также «Самопознание» (2-е изд., с. 217—220) и «Смысл творчества» (2-е изд., с. 84—85, 348—349).

страшной химеры фантазии, дергался, вспыхивал, что выстреливал градом злосчастных сентенций, гарцуя на кресле, ведя за собою послушных «бердяинок» приступами штурмовать иногда лишь «четвертое» измерение зренья, и вылетал он в трубу (в мир астральный) чудовищных снов: он — кричал по ночам; мне казался всегда он утонченным субъективистом от догматического православия или обратно: вполне правоверным догматиком мира иллюзии.

Но импонировал в нем очень-очень большой и живой человек, преисполненный рыцарства, честный, порой независимый просто до чертиков.

Даже не помню, когда начались забегания мои к Н. А.; кажется, с осени 1907 года, когда проживал близ Мясницкой он; помню: потягивало все сильнее к нему; обстановка квартиры его располагала к кипению мысли; и милые, интересные разговоры с Л. Ю., ставшей мне очень близкой тогда.

Сам Бердяев за чайным столом становился все ближе и ближе; мне нравились в нем прямота, откровенность позиции мысли (не соглашался я в частности с ним); нравилась очень улыбка «из-под догматизма» сентенций и грустные взоры сверкающих глаз, ассирийская голова; так симпатия к Н. А. Бердяеву в годах жизни естественно выросла в чувство любви, уважения, дружбы.

Мережковские, Риккерт, Бердяев, д'Альгеймы, неокантианцы, Шпетт, Метнер — влияния сложно скрещивались, затрудняя работу самосознания; Бердяев был близок по линии прежнего подхода к Мережковским; идейное отдаление от них приближало к Бердяеву; а с другой стороны: мне общение с Метнером, Шпеттом вселяло порою жестокую критику по отношению к «credo» Бердяева; Шпетт*, почитатель Шестова, в те годы всегда направлял лезвие своей шпаги на смесь метафизики с мистикой у Н. А.; и говаривал мне: «Мистика не должна рационализироваться в мысли; стихотворение — мистика; гносеологический трактат — философия. Смешивать их — допускать стиль нечеткости».

* Шпетт (или Шпет) Густав Густавович (1879—1940?) — философ, проф. Московского ун-та, переводчик. Вице-президент Российской Академии художественных наук (РАХН, затем — ГАХН) в 1923—1929 гг. Арестован в 1934 г. В октябре 1937 г. вторично арестован, получил «10 лет без права переписки». Его семья уверена, что настоящая дата его смерти не 1940, а 1937 г. О нем см. «Между двух революций» (Л., 1934. С. 305—311).

В доме Бердяева встречен был ласково я; если мне было многое чуждо в бердяевском «credo», то «credo» мое было вовсе не чуждо Бердяеву; в сложном скрещенье путей, выволакивающих вагоны культуры из гибнущих местностей быта и жизни, имелся и поезд, быть может, товарный, но все-таки поезд; он значился, видно, в бердяевском расписании поездов: «*Поезд новых прогнозов искусства*»; и направлялся через центральную станцию, «Его» Бердяева, в град им увиденной жизни; на станции «*Мировоззренье Бердяева*» строгий начальник движений, Н. А. Бердяев, встречал и меня; в ту минуту, хотел или нет — все равно, я был в сфере владычества государственных отправок его философии; и под дозором его догматической жандармерии все неприятные выходы против меня глупых критиков или несносная беготня престарелых профессорш, преглупо мне портивших кровь, запрещались строжайше; вагон моей мысли гладко подкатывал к платформе; на ней поджидал благосклонный начальник движения, Н. А. Бердяев, и всем своим весом философа (веским пером, громким словом) произносил мне:

— Добро пожаловать!*

Жест доброй встречи, и грустной улыбки, пожатье руки — непосредственно как-то притягивали поезд мыслительных

* «...Андрей Белый, человек больших дарований. Временами в нем чувствовались проблески гениальности... С А. Белым у нас сложились странные отношения. У меня была к нему симпатия. Я очень ценил его романы “Серебряный голубь” и “Петербург”, написал о них две статьи, в которых даже преувеличил их качество. А. Белый постоянно бывал у нас в доме, ел, пил и даже иногда спал у нас. Он производил впечатление друга дома. Со мной постоянно соглашался, так как вообще не мог возражать в лицо. Потом внезапно на некоторое время совершенно исчезал. В это время он обыкновенно печатал какую-нибудь статью с резкими нападениями на меня, с карикатурными характеристиками меня» («Самопознание», с. 223—224). Имеются в виду статьи-рецензии Бердяева «Русский соблазн. По поводу “Серебряного голубя” А. Белого» (Русская мысль. 1910. № 11. С. 104—115) и «Астральный роман («Петербург» А. Белого)» (Биржевые ведомости. 1916. 1 июля. № 15652) — перепечатано в кн. «Кризис искусства» (1918). Бердяев имеет в виду статью Белого против него: «Каменная исповедь. По поводу статьи Бердяева “К психологии революции” [«Русская мысль», июль]» // Образование. 1908. № 8. С. 28—38). В «Ракурсе дневника» (ЦГАЛИ) Белый писал: «...тем не менее меня [Мережковские] втравливают в грызню, и я пишу [в августе 1908 г.] яростную статью против Бердяева...»

странствий мои в его сферу; и кроме того: ко мне лично Н. А. относился прекрасно; от этого стали все чаще-чаще мои забега-нья к нему в эту вьюжную зиму.

Возвраты домой от Бердяева воспоминанием связаны с вихрем метелей; беганье мое по кривейшему переулку Мясницкой связалось с бежаньем в московских неделях; недели звенели; недели летели; недели оделись в метели; и чуялись в звуках легчайшие свистени философической истины; а атмосфера, казалось, была лишь хлопчатую массой валившего снега, где в белом волнении, пролуненном мутно, неясно вычерчивалась тень заборчика, выпертого между двух переулков скрещеньем неяснейших абрисов белых и желтых домов.

И тумбы сидели окаменелыми нищенками по краям тротуара, где не могли б разойтись трое встречных; сидели и кланялись мне¹¹.

* * *

Зимний сезон 1913/14 в Москве был необычайно возбужденный и радостный. Было ли это Подсознательным предчувствием, что идет последний светлый и беспечный год? Или у всех были точно завязаны глаза? Люди жадно веселились: театры, концерты, а главное, балы: всем хотелось танцевать...

Бердяевы — Николай Александрович, его жена Лидия Юдифовна и ее сестра Евгения Юдифовна Рапп — жили в центре города, где-то в переулках между Арбатом и Остоженкой, в старом барском особняке. У них был чудный двусветный большой зал прекрасной архитектуры. Они любили время от времени собирать изрядное количество друзей у себя в зале и в шутку называли эти вечера «балами». Но на святках 1913/14 они пригласили друзей действительно на бал, и даже костюмированный. Было чрезвычайно весело, и мы танцевали. Но тут словно бы мимоходом прошла какая-то туча, которую, однако, не все заметили.

В том году появился в Москве Бог знает откуда какой-то мистик, высокий старик-швед с пышной бородой, длинными волосами, как-то странно одетый. Он был принят у многих наших друзей. На этот раз он оказался на балу у Бердяевых. Я была слишком увлечена танцами в кружке молодежи, чтобы подходить к нему и его слушать, но знаю, о чем он говорил, со слов Лидии Юдифовны: «Вот, вы все радуетесь, встречаете Новый год. Слепые! Наступает ужасная пора. Кровавый 1914 год

открывает катаклизм, целый мир рушится...» И прочее в этом духе.

[Лидия Иванова. Воспоминания]¹²

П***

Н. А. БЕРДЯЕВ *

(по личным воспоминаниям)

Во время великой европейской войны Бердяев не был оседлым москвичом. До этого я встречал его случайно, наружностью он мне не нравился. Тик в данном случае не играл роли. Правда, что может быть неприятнее, чем выскакивание языка изо рта, одно из его непроизвольных движений, и судорога кажется еще больше, когда это сопровождается бессмысленным взглядом и каким-то тупым отражением глаз. Но, повторяю, дело не в этих болезненных движениях; мне казалось, что Бердяев придает особое значение своей наружности. Прекрасно одетый, он носил длинную шевелюру, можно было подумать, что он внешне подчеркивает свою экстравагантность. Стиль его выступлений был в духе времени. Сложность и мистицизм, загадочные и пышные формулы, символический язык и порою словно нарочитая туманность и неопределенность мысли — все это накладывало отпечаток чего-то сделанного, искусственного.

Но постепенно выяснилось, что у Бердяева замечательно привлекательны те стороны личности, которые не составляют, так сказать, фасада в облике человека.

Уметь быть справедливым к своему ясному противнику — вот искусство духа — на это был способен Бердяев.

Лопатин подсмеивался над Бердяевым как над новатором-богословом. Шпет говаривал: «Ох уж этот Белибердяй». Ильин доктринально поучал, что разные импрессионистические осмысления творчества, методологически не оправданные — попытки с негодными средствами. Флоренский считал Бердяева за проповедника модернизированного христианства, к чему относился как к фальсификации. Мельгунов иронизировал над Бердяевым как над мистиком, который без упоминания «диавола или черта строки написать не может».

* Опубликовано в «Московском сборнике», самиздатском журнале, издающемся под редакцией Леонида Бородина. (Прим. ред.).

А выходило, что Бердяев умел перевернуть все эти отношения, и Лопатин неизменно печатал в редактируемом им органе «Вопросы философии и психологии» все статьи Бердяева, Шпет читал свои доклады под председательством Бердяева, Ильин вдруг неожиданно для самого себя воскликнул: «Я первый друг Вольной Академии!» — председателем Вольной Академии духовной культуры был Бердяев, Флоренского я слышал докладчиком в салоне Бердяева, Мельгунов привлек Бердяева в организованное им издательство «Задруга» и заказывал ему статьи в сборники, намечавшиеся в начале революции.

Свободолюбие — вот черта, быть может, наиболее свойственная Бердяеву. Свободолюбие — начало, характерное для Бердяева не только как <для> мыслителя, но и как <для> человека. Искание свободы духа было для Бердяева главным жизненным делом. Бердяев отличал два вида свободы, об этом он неоднократно говорил в своих докладах, это же можно найти в его писаниях. Есть свобода разума, рациональная свобода, предпочитающая лучшее худшему, возвышающаяся непредвзятостью своего усмотрения над всем случайным и недоброкачественным. И есть свобода исконная, коренная, не находящаяся в компетенции разума, а предваряющая все, свобода до всякого рассуждения и помимо него. Эта свобода, может быть, темная, неразумная, но исконная, соответствующая природе духа, самостийной, независимой и необузданной. Прежде чем искать, надо хотеть искания разумного. Человеческому же духу ничего нельзя навязывать, он должен сам захотеть, не подчиняясь ничему и не руководствуясь ничем. Этот взгляд, что в человеке самое ценное — его «Я», ничему не подчиняющееся и неизменно ищущее, было глубоким убеждением Бердяева и определяло его отношение к людям.

К людям он был неизменно расположен с благоволением, благожелательством, лишь бы это были подлинные люди, не заглушившие своих внутренних потребностей и не превратившиеся в рабов, слепых исполнителей чужой воли.

В спорах людей интересна борьба идей. Интересна лишь борьба свободная, интересен обмен мнений, когда над ним не висит никакого дамоклова меча, будь то государственная власть или принудительный авторитет. Религиозность есть высшая форма свободы — искания коренных путей, поэтому религия не может быть принудительна, худшая форма ее та, которая опирается на необходимость и авторитетность. Поэтому всеми силами Бердяев протестовал против точки зрения, выставленной

Ив. Ильиным в книге «О противлении злу силой». Насилие никогда не может быть орудием правды.

Бердяев также считал, что религиозность Розанова не есть подлинная религиозность, что Розанов прошел мимо всего специфически христианского, что его отношение к Церкви, браку дохристианское, несовместимое с духом подлинной религии, что это религия быта. В антропософии Бердяев тоже видел религиозные искания, не освободившиеся еще от пут природного бытия и ищущие ответов в плоскости косного натурализма. Но представителей враждебной себе идеологии Бердяев не только не чуждался, но их-то и можно было встретить за гостеприимным чайным столом квартиры Бердяева — там сживали и Розанов, и Ильин, и антропософы, и католики, Чертков и Букштин или Кузьмин-Караваев. Мало того — жена Бердяева, очень почтенная и приятная дама, была убежденной католичкой. Бердяев принимал участие в делах церковного совета ближайшей церкви Власия, жена же его уходила в свою католическую общину. Для духовного лица Бердяева это совсем не казалось натяжкой, наоборот, это было в его духе. В связи с этим окружение Бердяева было всегда очень интересным, он ценил людей по их значимости, а не по степени близости их к собственным его взглядам. Можно сказать, что при всем многообразии лиц, являвшихся постоянными посетителями Бердяева, было что-то общее у всех. Они разделяли многие симпатии и антипатии, в иных вопросах они точно вперед стоворились. Из гениев русской культуры

Бердяев и его окружение больше всего ценили Достоевского и Вл. Соловьева. Они презирали, можно сказать, нашего Толстого, даже его художественное творчество. Особенно парадоксально высказывался в эту сторону Вышеславцев и встретил сочувствие у всех. Раз меня поразило определенно отрицательное отношение к Герцену. Дело было так. Окно кабинета Николая Александровича во Власьевском переулке выходило в глубь двора. Там стоял дом. Во время европейской войны там помещался госпиталь. Затем туда вселился неизвестно кто. Домик подвергся разграблению, кажется, был частично пожар, а затем дом стал разрушаться, стоял без окон и дверей. Это был дом, в котором одно время жил Герцен, его только не следует смешивать с домом, в котором родился Герцен, на Тверском бульваре. Все стояли у окна-кабинета. Бердяев сказал, смотря на остатки здания: «Вот плод взглядов Герцена — достойный пример того, к чему вели Россию Герцен и иже с ним». Букштин и Грифцов сочувственно подхватили слова Бердяева.

С начала революции я стал бывать у Бердяева на частных собраниях, происходивших еженедельно. Обычно кто-нибудь выступал с докладами. Помню, как читал сам Бердяев свой доклад о конце Ренессанса. Он не руководил прениями, вообще стремился к тому, чтобы организационно наименьше все зависело от него. Предлагали во время прений председательствовать кому-нибудь из гостей. Так, помню, внезапно мне предложили руководить прениями по докладу Топоркова. Собирались у Николая Александровича часов в восемь вечера. Сиделись где кто хотел, на столе был сервирован чай с очень скромным угощением, особенно в 1918—20-х годах, да и чашек не хватало на всех присутствующих. Но в буквальном смысле пища телесная заменялась пищей духовной. Все предметы, лица, разговоры одухотворялись внутренними интересами и вопросами.

Квартира Н. А. была всегда аккуратно прибранной, но не было ни следа мещанства, ни внешней прилизанности или формальной тщательности в порядке.

Николаю Александровичу порою жилось тяжело, он куда-то ходил, менял, продавал, хлопотал о деньгах, служил одно время в Центроархиве. Перед отъездом из Москвы продавал свою квартиру. Но при встречах он никогда не говорил о повседневных заботах, а всегда о чем-нибудь, связанном с литературой или философией. Быт для него был всегда лишь предлогом для иронии или шутки.

В 1919—20-х годах Бердяев был ревностным сотрудником по организации и ведению книжной лавки писателей. Его соотарищи говорили мне, что он был очень внимательным работником. Сначала лавка помещалась в Леонтьевском переулке, затем на Никитской, наискось от театра Революции (Сабурова). Это был настоящий клуб. В ту же пору зародилась «Вольная Академия духовной культуры». Председателем был Бердяев, секретарем В. А. Грифцов, тоже участник лавки писателей. Покупка и продажа, книжные дела смешивались с вопросами об устройстве докладов и лекций. На Никитской в лавке, если предвиделся серьезный разговор, удалялись на второй этаж того же магазина, и там среди книжных полок иногда происходили философские дебаты. Однажды, году в 1923-м, Надежда Петровна Корелина направила ко мне одного юношу, интересовавшегося философскими вопросами. Он приехал из Иваново-Вознесенска. Он мне сказал с блестящими глазами и сияющим взором: «Вчера на мою долю выпал счастливый день. Зашел в лавку писателей. И вижу у прилавка кого же — самого Бердяе-

ва. Ведь он мой любимый писатель, и вдруг — вот он здесь, налицо, и даже отпускает мне нужную книгу».

Выступления Бердяева в «Вольной Академии» сопровождались неизменным успехом. На его докладе об антропософии пришлось забаррикадировать дверь, но публика так ломилась и стучала, что Бердяев прервал речь и сказал: «Не могу так читать, надо принять какие-нибудь меры».

В 1921 году были организованы диспуты для преподавателей университета, не имеющих степеней. Был диспут и у Бердяева. Разбиралась совокупность его трудов. Бердяев произнес блестящую речь о сущности исторического процесса, но в духе Шеллинга; речь <была> переполнена метафизическими экскурсами и беспощадна по отношению к позитивной, эмпирической истории. Я помню очень внимательные и вдумчивые лица Петрушевского и Савина. Один из них сказал: «Все это не имеет ничего общего с нашей методологией, но это очень интересно».

В 1921 году Бердяев вел семинар по Достоевскому. Нужно было иметь постоянное помещение. Времена были тогда сравнительно легкие, и занятия по Достоевскому были организованы в помещении Центроспирта на Поварской. Соответствующее указание было сделано в объявлении на окне лавки писателей. Вскоре в «Известиях» или «Правде» появилась заметка о том, что, конечно, религиозное умонастроение и опьянение алкоголиков составляют нечто родственное, но нечего государственному учреждению способствовать этому родству. Бердяев искренне и весело смеялся в связи с этой заметкой.

Во времена НЭПа произошел цензурный перелом, — еще продолжал выходить философский журнал «Мысль», печатали Лосского и Карсавина, но книги Бердяева стали задерживать: так не была пропущена книга «Миросозерцание Достоевского». Бердяевым были также написаны, но не изданы в Советской России «Философия неравенства», «Смысл истории», монография, посвященная Константину Леонтьеву. После высылки Бердяева за границу в 1922 году эти книги вскоре появились в Берлине и в других городах. Много яда выливалось на страницах советской печати по поводу писаний и выступлений Бердяева, но в личных отношениях его идеологические враги были с ним корректны: так себя держал отбывавший ссылку вместе с Николаем Александровичем — в эпоху царизма — Луначарский.

При аресте Бердяева, перед высылкой, ему был задан вопрос: ваше отношение к советской власти. Он ответил: я не занима-

юсь контрреволюционной пропагандой, я не участвую ни в каких заговорах, но к принципам советской власти, к идеологии марксизма я отношусь отрицательно. Его спросили также: почему он не высказался по поводу книги «Смена вех». Он ответил: спорить по таким общим и абстрактным вопросам можно было бы лишь в атмосфере полной свободы и отсутствия ограничений. А таких условий нет.

Мы ближе познакомились с Бердяевым, когда по его инициативе я был включен в президиум Вольной Академии духовной культуры. Он из своей лавки на Никитской приходил ко мне в магазин «Задруги», где я работал. Обсуждались дни заседаний Академии. Между прочим, название Академии — вольная — в духе Бердяева: он считал, что лучшая атмосфера обсуждения духовных вопросов — вольный союз, дружественная, но не официальная обстановка и условия. Раз я долго беседовал за магазинными полками. Нетерпеливый и всегда страстный С. П. Мельгунов вдруг выскочил на меня и сказал, что меня ищут в магазине, что нельзя так много пропадать и т. д. Бердяев ничего не сказал, но вечером вскользь отозвался: «Я бы не смог работать при таких условиях. Агрессия, от кого бы она ни исходила, неприемлема». Мне было поручено пригласить Ильина на заседание Вольной Академии. Он поставил условием, чтобы не было Вячеслава Иванова. Бердяев спокойно реагировал, когда я передал ответ: мы никаких условий принимать не можем, один не хочет одного, другой другого — такая атмосфера недопустима. Бердяев больше не обращался к Ильину, одержав верх: Ильин явился оппонентом на доклад Флоренского без всяких условий. Я помню только раз, когда Бердяев рассердился. Против Бердяева на заседании выступил Столяров в защиту антропософических идей. Он стал обильно цитировать Франка. Как на грех, Франк был хороший знакомый Бердяева, единомышленник с ним по ряду философских вопросов. Бердяев не выдержал и в ответ сказал: «Меня нечего было пугать. Я сам могу цитировать и Франка и себя — сколько хотите».

Речь у Бердяева была живая и непосредственная. У него не было особенных ораторских способностей. Тик ему мешал. Он часто в устной речи (а читал он редко по тетради) повторял <одну и> ту же мысль. Но в этой настойчивости была своя особая экспрессия и выпуклость. Чувствовался круг его любимых идей, от которых он не отступился. У Бердяева был такой критерий — «это сказано остро», «надо это выразить острее». Но писания Бердяева времени революции стали ровнее, сгущеннее и, я бы сказал, эмоционально напряженнее.

Помню, сидел за столом председателем Вольной Академии во время торжественного заседания памяти Достоевского в 1921 году. Рядом были Бердяев, Григорьев, Вышеславцев, Чулков. Все доклады, кроме Чулкова, говорившего устаревшим языком символистов, были на редкость удачны. Грифцов оценивал стиль Достоевского. Бердяев говорил о религиозности Достоевского. Говорил очень убежденно, перед ним лежало всего несколько листиков конспекта...

Деборин мог покаяться в своих взглядах, Луначарский перестать говорить о Богданове и эмпириокритицизме, Челпанов мог вдруг заявить, что он всегда держался принципов марксистской психологии. Бердяев никогда не переставал быть Бердяевым. Что он выносил в своих мыслях, то он и высказывал, невзирая на условия и лица: и при царском режиме, и при советском, и при парламентском, и при фашистском. Так же беспристрастно и открыто относился он и к людям: для него не было ни эллина, ни иудея, ни образованного, ни необразованного — но всяческая и во всех Господь.

Раз при Бердяеве очень сетовали на революцию, связывая с ней все ужасы века. Бердяев взорвался: «Ведь революция обнажила корни русской жизни. Мы через нее узнали правду о России. А узнать правду — всегда величайшее благо!»

О степени популярности Бердяева сужу также по следующему факту. Уже во время русско-германской войны, готовясь к докладу в апреле 1943 года, я хотел получить доступ к последним иностранным изданиям об Аристотеле. Так в мои руки попали пробные философские лекции, вышедшие в Англии в начале войны. Мне удалось подержать книгу буквально минуты две в руках. Я решил на ходу просмотреть, отразилась ли русская философия в этом весьма кратком пособии. На букву «С» — Вл. Соловьев не отразился. Открыл букву «Б» и смотрю — есть Бердяев, столбца 1 1/2—2. Читаю и изумляюсь. Такие подробности биографии, которые я и не знал о лице, лично мне знакомом, жившем в соседнем переулке. Между прочим, меня поразило, что в 10-х годах в Англии вышла целая монография, посвященная Бердяеву. Другое поразившее меня обстоятельство указало, что Бердяев был исключен от общения с русской церковью в 1913 году в связи с вопросом об имяславии. Я знал только, что статья об имяславии Бердяева цензурой преследовалась. Книгу у меня быстро отняли, и больше доступа к ней я не получил. Но через несколько дней я встретил в Москве некоего Бердяева. Это — не то племянник, не то

сын Николая Александровича. Во всяком случае, он становится все более и более похожим на Бердяева.

Рассказываю о статье и поразившем меня не отлучении, а каком-то исключении Бердяева из лона Церкви в период царизма. Бердяев тоже поражен и говорит: «А ведь это, по-видимому, так. Что-то было. Николая Александровича вызывали в синодальную контору, он негодовал и давал какие-то объяснения, но вскоре наступила революция. Должно быть, английский словарь прав».

И вот сын или племянник Бердяева не знает такого факта из жизни москвича, имя которого гремит на Западе и точные сведения о котором надо искать в иностранных энциклопедиях¹³.

* * *

Огромная наша витрина на Большой Никитской имела приятный вид: мы постоянно наблюдали, чтобы книжки были хорошо разложены. Их набралось порядочно. Блоковско-меланхолические девицы, спецы или просто ушастые шапки останавливались перед выставкой, разглядывали наши сокровища, а то и нас самих.

«Книжная лавка писателей». Осоргин, Бердяев, Грифцов, Александр Яковлев, Дживелегов и я — не первые ли мы по времени нэпманы? Похоже на то: хорошие мы были купцы или плохие, другой вопрос, но в лавке нашей покупателя чувствовали себя неплохо. С Осоргиным можно было побеседовать о старинных книгах, с Бердяевым — о кризисах и имманентностях, с Грифцовым — о Бальзаке, мы с Дживелеговым («Карпыч») — по части ренессансно-итальянской. Елена Александровна, напоминая Палладу, стояла за кассой, куда шли сначала сотни, потом тысячи, потом миллионы.

Осоргин вечно что-то клеил, мастерил. Собирал (и собрал) замечательную коллекцию: за отменой книгопечатания (для нас, по крайней мере) мы писали от руки небольшие «творения», сами устраивали обложки, иногда даже с рисунками, и продавали. За свою «Италию» я получил 15 тысяч (фунт масла). Продавались у нас так изготовленные книжечки чуть <ли> не всех московских писателей. Но по одному экземпляру покупала непременно сама лавка, отсюда и коллекция Осоргина. Помещалась она у нас же, под стеклом. А потом поступила, как ценнейший документ «средневековья», в Румянцевский музей.

Итак, Осоргин хозяйничал, Бердяев спорил об имманентностях, горячился из-за пайков, был добросовестен, элегантен и

картинен. Грифцов «углубленно» вычислял наши бенефиции. Нервически поводил голубыми прохладными глазами, ни с кем ни в чем не соглашался: где-то подкожно заседал у него Бальзак, им он презрительно громил противников. Я... В зимние дни, когда холодно в лавке, сидел на ступеньках передвижной лестницы, где было теплее. До конца дней своего купечества так и не усвоил, где что стоит (книги у нас, правда, постоянно менялись). Если покупатель был приятный, то еще он мог рассчитывать, что я двинусь. Если же появлялась, например, барышня и спрашивала:

— Есть у вас биографии вождей?

Я прикидывался вовсе непонимающим:

— Каких вождей?

— Ну, пролетариата...

— Нет, не держим.

И вообще для несимпатичных редко слезал с насеста.

— Такой книги нет.

А если есть, то обычный вопрос (вполголоса):

— Елена Александровна, где у нас это?

И Паллада, отсчитывая миллионы, молча указывала пальцем полку.

Мы, «купцы», жили между собою дружно. Зимой топили печурку, являлись в валенках. Летом Николай Александрович надевал нарядный чесучовый костюм с галстуком-бантом. Над зеркальным окном спускали маркизу, и легонькие барышни смотрели подолгу, задумчиво на нашу витрину. С улицы иногда влетала пыль.

[Б. К. Зайцев. Лавка]¹⁴

* * *

Выясняется, что в Москве арестовано всего около 30 человек. Ордер же на арест в ночь с 16 на 17 августа был составлен на 100 человек. В числе арестованных находится весь «Бердяевский кружок» (Бердяев, Франк, Степун, Шпет, Ильин, Стратонов, Бреч, Айхенвальд и др.). Кизеветтер находится под домашним арестом. Осоргину удалось скрыться.

В Петербурге арестовано гораздо больше. В первую очередь хватились Питирима Сорокина, но он оказался в Москве, где хлопотал о выезде за границу.

ГПУ обещает арестованных профессоров освободить, если они в недельный срок уедут за границу.

[Аресты интеллигенции]¹⁵



Уехать из Москвы в деревню Барвиху не так просто. На вокзал идти пешком, потому что извозчики разъехались по деревням на сельские работы; денег им не нужно, а не голодать можно только близ земли. Поезда существуют, но нет для них точного расписания. Добравшись до маленькой станции, шагай опять пешком два-три часа через поля, короткой дорогой через овраги, болотцем по кочкам, лесом по корням деревьев случайной тропой. То солнце, то лесная полутьма, то дух медвяный, то хвойный. Изба в деревне снята раньше, мы делим ее пополам с семьей моего друга философа, культурнейшего и превосходного человека, глубокого, терпимого, с судьбой которого и дальше совпадает моя судьба, лишь с той разницей, что он проживет двадцать лет в Клямаре, я — в Париже. В деревне я немедленно дичаю — в одежде, в повадках, в распределении времени: ранней зарей на речке, сплю, когда сморит усталость, пишу урывками, поймав мысль на лету, увлекшись образом. Он — как бы на подлинной даче, жизнь — правильным здоровым темпом, сам в светлом костюме, даже в галстукке легкого батиста, днем за работой, под вечер в приятных и полезных прогулках за ягодой, за еловыми шишками для растопки самовара; для шишек берет с собой легкий чемоданчик. Наслаждаясь природой, он разумно мыслит — я попросту пьян лесом, рекой, полями. Будто бы я пишу свой роман, но роман сам пишется в голове, а я больше валяюсь на траве, слушая стрекот кузнечиков, обедаюсь земляникой, брусникой, костяникой, сладко тупея от лодки и рыбной ловли, и вижу во сне речную рябь и ныряющий поплавок...

В Москву не тянуло — был за все лето два раза. Однажды туда собрался мой сожитель — и в срок не вернулся. Один из дачников, приехавший из города, рассказал, что там аресты среди писателей и ученых, почему — никто не знает, и понять трудно. Значит — нужно готовиться. Ночью сюда не придут — можно спать покойно, с утра ухожу с удочками на речку. Условлено, что в случае тревоги мальчик махнет мне платком с холма... Хорошо клевала на хлеб плотичка, на червяка попался окунек. С холма махнули платком, и в то же время к перевозу подъехал по бездорожью автомобиль — явление в этих краях почти невиданное. За речкой местный «совет депутатов», куда, очевидно, за справкой отправились на пароме приехавшие, оставив машину на нашем берегу. Все просто и понятно, и чекистская форма горожанам знакома. Один из приехавших остал-

ся с шофером в машине, но у меня нет выбора — по берегу одна тропа к лесу: мимо машины. Иду тихо и спокойно, загорелый, заплатаанный рыбак, смотрю на военных людей с любопытством. Дальше — в прибрежные кусты, где прощаюсь с удочками; рыбу выпустил на волю раньше — такое ее счастье. Добравшись на береговую кручу, сразу углубляюсь в лесную опушку, мимо которой лежит единственная на Москву проезжая дорога. В пяти километрах есть деревушка избы в три-четыре, где один домик снят моими знакомыми. Правда, там же, рядом, в бывшем большом барском именье, летом живут общезнаменито семьи народных комиссаров Троцкого, Каменева, Дзержинского, главного палача, и именье окружено высокой кирпичной оградой — дачное гнездо предрежащих властей. Но это хорошо, в таком месте искать не будут. Добравшись до деревушки, сажусь под домашний арест, чтобы выждать, какие вести придут из Москвы. Все-таки трудно сидеть в избе безвыходно в чудесную осеннюю пору, а в лесу, как нарочно, появились белые грибы — целые заросли, собирай хоть бельевыми корзинами. Выползаю с оглядкой на занятный спорт. На третий день узнаю, что часть арестованных еще в тюрьме, а часть выпущена на волю с предписанием готовиться к высылке за границу. Ни причин, ни обвинений; взяты люди, от политики далекие, «религиозные философы», ректор университета, профессор-финансист, профессор-астроном, инженер, агроном, несколько писателей, литературный критик — никакой между ними видимой связи, случайный любительский отбор. Взят, конечно, и мой сожитель, но он выпущен на свободу; он — московский профессор, из русских философов виднейший.

[М. А. Осоргин. Времена]¹⁶

* * *

18 августа... Ночью звонок. Чекист! Обыск. Арест... Отвозят на грузовиках в знаменитую внутреннюю тюрьму ГПУ на Лубянке.

Поздней ночью — в комендатуре тюрьмы. Новый обыск. Ряд неожиданных встреч. Вопросы глазами:

— Как, и вы?

Много знакомых профессоров. Швыряют в дверь грязный, в подозрительных пятнах сенник и доски. Устраиваем себе ложе.

Тюрьма возбуждена — в одну ночь столько новых арестантов! Едва заснут, снова дверь открывается. Новый!

Шепчутся арестанты:

— Что-то происходит в Москве...

В эту ночь отвезли в тюрьму ряд профессоров, писателей и деятелей кооперации. В Москве арестовали человек сорок. В Петрограде и провинции — примерно столько же.

Программа Зиновьева приводилась в исполнение.

Тюремный режим внутренней тюрьмы ГПУ не раз описывался: содержание голодными, грубое обращение, лишение прогулок, умаление дневного света в камере, разрешение только один раз утром и один раз вечером, в назначаемое надзирателями время, пользоваться уборными и пр.

В одной камере со мной было девять арестантов; между ними профессор-философ Московского университета Н. А. Бердяев.

Ночью наша камера оглашается воплем:

— Погибаю! Поги-ба-аю!

Вскакиваем. Что такое?!

Снова неистовый крик не своим голосом...

По коридору, гремя оружием, бежит караул. Дверь поспешно открывается. Камера заливается светом.

— Николай Александрович, да проснитесь же...

— По-оги-бааю!

— Ничего подобного! Очнитесь!

Наконец наш профессор просыпается. Оглядывается, поворачивая недоумевающе взлохмаченную голову...

— Что случилось?

— Что... Да вы же во сне крик подняли!

— Я?! Разве?

Караул смеется. Надзиратель, прибежавший с караулом, старается быть строгим. Ищет жертву, на которой сорвать бы досаду... Искупительная жертва найдена:

— Снимите жилетку! Слышите? Немедленно снять жилетку!

Николай Александрович покорно снимает свой жилет. Караул уходит...

[В. Стратонов. Потеря Московским университетом свободы]¹⁷

* * *

Переполненный зал. Цвет русской эмигрантской интеллигенции. И ее вожди — епископ Евлогий и Иосиф Гессен. Группы изгнанных из России профессоров, литераторов, публицистов.

На эстраде за столом появляются основатели и руководители открываемой в Берлине на средства Американского Союза христианской молодежи Религиозно-философской академии. Первым произносит речь Н. А. Бердяев. Эта речь является «исповеданием веры» всей организовавшейся вокруг Академии группы. Н. А. Бердяев начинает с обращения, от которого уже успело отвыкнуть русское ухо: «Ваше высокопреосвященство (поклон в сторону епископа Евлогия), милостивые государыни и милостивые государи!»...

Сущность доклада Н. А. Бердяева сводится к тому, что русская революция, как и все революции, лишена творческих элементов и является страшной болезнью, бунтом воли человеческой, стремящейся к самоутверждению и своеволию против воли божественной, которой должны покорно следовать как отдельные люди, так и целые народы. Русская революция и брожение, охватившее весь цивилизованный мир, раскрывают кризис всего гуманистического мировоззрения, характеризуемого как отпадение от первичного христианства и торжество «природного человека» над «духовным». Новая история свидетельствует о диалектическом развитии гуманизма в его противоположность, ибо без Бога нет и не может быть человека как существа, отличного от зверя. Ницше и Маркс — провозвестники гибели «серединного царства человечности» как на почве индивидуальной, так и в коллективе и глашатаи торжества нового, нечеловечного, Левиафана животности. В России, где гуманизм, не успев расцвести, обанкротился, кризис его был ускорен вследствие своеобразия русской психики, устремляющейся к крайностям Апокалипсиса или нигилизма. Великая заслуга большевизма в том, что он путем экспериментальным показал безысходность гуманистического мирозерцания. Не случайно вместо выношенного веками «Третьего Рима» в России — «Третий Интернационал», вместо царства Христа — царство внешне ему подобного Антихриста. Эмиграция в своих политических группировках зовет, в сущности, к торжеству того же гуманизма, только иными, более культурными методами. Необходимо, однако, вникнуть в глубь переживаемого цивилизованным человечеством духовного кризиса и обратиться к единому спасающему христианству. На этом пути могут встретиться и понять друг друга Запад и Восток, вдохновляемые принципом духовности. С этой точки зрения, закончил Н. А. Бердяев, быть может, не лишено особого смысла самое возникновение русской Религиозно-философской академии на территории Западной Европы.

Н. А. Бердяев — один из семи авторов известного сборника «Вехи», выпущенного после революции 1905 года и возвестившего о кризисе русской интеллигенции. Ныне, после октябрьской революции, кризис в концепции Н. А. Бердяева раздвинулся как по объему, так и по содержанию до пределов всеевропейских. Бердяев — крупный русский мыслитель. Тем более жутко было, до ужаса жутко, отметить в его блестящей по форме отвлеченной мистике роковые совпадения с идеологией врангелевских батюшек и реакционных эмигрантских пастырей, возглавляемых сидевшим вчера в первом ряду епископом Евлогием. Роковое совпадение!

[Открытие Религиозно-философской академии]¹⁸

* * *

В эти же дни П. Б. устроил — в квартире Н. А. Бердяева — совещание между приехавшими из России лицами и его единомышленниками по Белому движению. В числе участников совещания были — кроме П. В., Бердяева и меня — еще В. В. Шульгин, И. М. Биккерман, Г. А. Ландау, И. А. Ильин, А. С. Изгоев. П. Б. открыл совещание характерными для его умонастроения словами: узнав, что прибывшие только что из Советской России друзья не понимают значения Белого движения, он счел необходимым свести их с деятелями этого движения, чтобы постараться устранить возникшее недоразумение. Я сразу же заметил ему, что считаю искусственным и нецелесообразным такое сужение нашей беседы; Белое движение, как бы к нему ни относиться, есть только средство, а не цель; встретившись после долгой разлуки, в течение которой мы имели разный опыт этих бурных лет, мы, естественно, должны были поделиться мнениями о судьбе России в смысле совершившегося в ней. Фактически разговор пошел все же по руслу оценки Белого движения. И. А. Ильин — один из немногих, прибывших из России, безусловных приверженцев Белого движения — произнес, по своему обыкновению, красивую патетическую речь; он восхвалял моральную красоту Белого движения как борьбы за право «умирать за родину» (имея в виду борьбу против пораженчества большевизма в немецко-русской войне). П. Б. сразу загорелся от этих слов; он признал себя «потрясенным ими», и этим признанием и указанием на моральную правоту защищаемого дела исчерпывалось то, что он имел нам сказать. А. С. Изгоев и я снова развили наши соображения

о более глубоких причинах обнаружившейся неудачи Белого движения. Разговор принял драматический характер с бурного вмешательства в него Н. А. Бердяева, который со страстным возбуждением и в очень резкой форме начал упрекать сторонников Белого движения в «безбожии» и «материализме» — именно в том, что они возлагают все свои надежды на внешнее, насильственное ниспровержение большевизма, не учитывая его духовных источников и не понимая, что он может быть преодолен только медленным внутренним процессом религиозного покаяния и духовного возрождения русского народа. Меня поразила реакция П. Б. на это выступление Н. А. Бердяева. Оно его, конечно, тоже не переубедило, и он даже пренебрежительно отозвался об одном московском «старце», мнение которого Бердяев привел в подтверждение своей мысли. Но вместо того чтобы поднять брошенный ему вызов и отвечать на него, как это было бы для него естественно, той же страстной полемикой, он вдруг подошел к расхаживающему в возбуждении по комнате Бердяеву, рбнял его и стал успокаивать. В этом сказалась обычная, знакомая мне широта и любовная мягкость его натуры, так трогательно-прекрасно сочетавшаяся с необычайной твердостью и фанатизмом морального направления воли. Потом Бердяев говорил мне, что по окончании собрания П. Б. и он еще чуть ли не всю ночь пробродили по улицам Берлина, в страстном споре. (С Бердяевым, который вскоре «полевел» и вернулся, хотя и с религиозным обоснованием, к своему юношескому увлечению социализмом, П. Б. потом совсем разошелся; лишь незадолго до кончины П. Б., как он мне писал, снова «дружески встретился с ним».)

[С. Л. Франк. Биография П. Б. Струве]¹⁹

* * *

Идея «Христианского движения» — объединение русской молодежи вокруг Церкви. В эмиграции во главе религиозно настроенной молодежи встал В. В. Зеньковский, он и был инициатором «Движения»...

В Сербии «Христианское движение» в русской среде большого развития не получило, и Зеньковский перебрался в Париж. Во Франции еще до его переезда возникло несколько религиозных кружков молодежи. Размеры «Движения» в то время были еще весьма скромные... Расцвет его связан с приездом В. В. Зеньковского.

В особняке на бульваре Монпарнас № 10, предоставленном нам YMCA, организовался центр «Движения», и русская молодежь туда устремилась. Загорелась творческая работа, преследовавшая высокую цель — христианизацию молодежи, а через ее посредничество и русское общество...

Сколько прекрасных страниц в эмигрантской истории «Движения»! К сожалению, не смогли удержаться на той религиозной высоте, которой достигли. Замешалась политика, в здоровый организм проник яд политических разногласий. Я обвиняю Н. А. Бердяева. Он стал заострять политический вопрос, проводить четкую социалистическую линию, старался склонить умы к принятию левых политических лозунгов. «Довольно кланялись вельможам, поклонимся пролетариату...» — подобные безответственные фразы привели к тому, что молодежь, которая не забыла еще обид большевизма, у которой не изгладились из памяти ужасы насилия и преследований родных и близких, оказала энергичное противодействие, и в результате мир и единодушие среди «движенцев» исчезли. Этот разлад до сих пор еще не изжит. «Левые» (группа Пьянова и м<атери> Марии — последователей и учеников Бердяева) обвиняют «правых» в непонимании советской действительности, «нового советского человека», в нежелании примириться с советским отечеством и закапывать ров между прошлым и настоящим. «Правые» травили «левых»: вы не учите национализму, вы предаете Россию, вы готовы подать руку гонителям Церкви...

[Церковь «Христианского движения»]²⁰

Г. П. Федотов

ЖУРНАЛ «ПУТЬ» (ПАРИЖ) *
(Рецензия)

8, последний вышедший номер «Пути», ни в каком смысле не является юбилейным. Десятилетие свое журнал отметил в 1935 году. Нет никаких как будто бы внешних оснований для чествования. Однако «Современные записки» так редко имели случай касаться деятельности своего почтенного собрата, а его

* Орган русской религиозной мысли, изд. Религиозно-философской академии.

заслуги перед русской культурой так велики, что лучше поздно, чем никогда. Платим в этих строках наш старый и общий долг.

«Путь» читают очень многие, но пишут о нем очень мало. Религиозные темы у нас все еще считаются слишком «специальными», хотя огромное большинство эмиграции устройством новых храмов и приходов подчеркивает свою связанность с Церковью. Те популярные церковные листки, которые откликаются на «Путь», не могут обсуждать поднимаемые ими проблемы на должной высоте. Говорить о них, по существу, можно только в самом «Пути». И он остается в одиночестве, для него скорее печальном, чем блестящем.

А между тем думается, что когда настанет время подводить итоги тому, что было продумано и создано в эмиграции, что она принесла в дар России, журналу «Путь» (и тесно связанному с ним издательству) будет отведено одно из самых почетных мест. «Путь» обслуживает тот участок культурного фронта, который начисто обнажен в СССР. Если религия там не умерла, то религиозная мысль лишена всяких средств <для> своего выражения. Как часть национальной культуры она просто не существует.

Эта единственность «Пути», как русского религиозно-философского журнала, обязывает редактора к большим жертвам. Н. А. Бердяев не может вести его как орган одного, своего, направления. Он морально обязан давать на его страницах приют всем религиозным изгнанникам, как бы далека и чужда для него ни была их позиция. Отсюда неизбежная эклектичность «Пути» — та широта, которая отчасти придает ему характер «Архива» (в немецком литературном смысле: «Архив русской религиозной мысли»). Отсюда и упреки некоторых любителей литературной остроты в том, что «Путь» скучен. В прямом смысле этого слова упрек не верен. В каждом номере «Пути» найдется достаточно острых — иногда слишком острых — статей и отзывов. Но всегда имеется и пресноватый солидный «материал», который имеет свою научную ценность, который должен быть напечатан и которому негде найти места, кроме «Пути».

О широте «Пути» свидетельствует хотя бы тот факт, что он не объявляет себя ни православным, ни даже христианским журналом. В нем пишут и инославные, католики и протестанты, пишут иногда и евреи, и антропософы или внеконфессиональные мыслители (Л. Шестов). Однако подавляющее число статей принадлежит православным. Остальные авторы являют-

ся скорее гостями «Пути». Если таков бесспорный факт, то объяснение ему следует искать не в пристрастии, хотя бы и вполне законном, редактора, но в объективном состоянии русской культуры. Русская религиозная мысль, в большинстве своем внеконфессиональная в начале века, уже ко времени мировой войны влилась в церковное православное русло, хотя и сохраняла различную окраску в зависимости от своих истоков. «Путь» отражает все эти течения в достаточной широте: от Булгакова до Бердяева, постоянных участников журнала. Хотя эти два имени исторической судьбой постоянно связываются в общественном мнении, но они выражают полюсы религиозной мысли, не одной русской. В послевоенном «Пути» религиозно-философские, в разном смысле радикальные течения, связанные с прошлым интеллигенции, соединились с более консервативными и чисто богословскими работами, которые раньше находили себе место на страницах ныне не существующих академических богословских журналов. К сожалению, специальные научно-богословские работы, по весьма понятным причинам, не могут рассчитывать на гостеприимство «Пути», и этот пробел в нашей зарубежной литературе остается незаполненным.

Может казаться, что «Путь» недостаточно внимателен к консервативным направлениям русского богословия. Сам Н. А. Бердяев в юбилейном (к десятилетию) № 49 «Пути», говоря о широте своего журнала, сделал оговорку: «Исключены были представители явно обскурантских, враждебных мысли и творчеству направлений, которые имеют за собой сочувствующую часть эмигрантской массы». В действительности ограничение это едва ли имеет реальное значение. Как бы ни были распространены обскурантские настроения, они почти неспособны у нас принимать форму мысли и, следовательно, претендовать на место в культуре. Они скорее отрицают культуру, философию, богословие — и потому не имеют никакого общего языка с «Путем».

До сих пор мы говорили о «Пути» — архиве. Но есть и другой «Путь» — боевой орган редактора. Их соединение под одной обложкой — дело печальной необходимости. Оно разрушает литературный стиль журнала, но с этим приходится мириться. Как орган Н. А. Бердяева «Путь» служит не столько пропаганде его личной философии, сколько страстной борьбе за свободу мысли. Он защищает то, что в наша дни наиболее угрожаемо и незащищено во всех странах, и даже в мнимо свободной эмиграции. Когда где-нибудь (в пределах русского ду-

ховного мира, конечно) совершается покушение, теоретическое или практическое, на свободу мысли, Н. А. Бердяев разит беспощадно, давая полную волю своему темпераменту борца. Тут забываются все самоограничения, налагаемые на себя редактором. Философ, не богослов, в такие минуты Н. А. Бердяев способен наговорить вещей, которые, в глазах иных, ставят его вне Церкви. Но и здесь он выполняет необходимую церковную работу. Таковы его памятные выступления по поводу осуждения о. Сергия Булгакова московским митрополитом. Соединял бойца и объективного редактора в одном лице, Н. А. Бердяев вынужден предоставлять страницы «Пути» для полемики против него самого, приводя в отчаяние всякого любителя классификаций, который еще не потерял надежды дать его журналу формальное определение. Но эта внутренняя полемика на страницах «Пути», показатель повышенной температуры в церковной среде эмиграции, сообщает журналу настоящую актуальность. В нем явственно бьется пульс жизни. «Путь» не только архив, но и поле битвы идей²¹.

Б. К. Зайцев

БЕРДЯЕВ

Так давно все это было, а все-таки было. Петербург начала века, журнал «Вопросы жизни», огромная квартира, где обитал при редакции приятель мой Георгий Чулков — вроде редактора. Жил там и худенький Ремизов, в очках, уже тогда слегка горбившийся, волосы несколько взъерошенные — секретарь редакции. Издатель журнала — скромный меценат Жуковский. Главными тузами считались Булгаков (еще не священник) и Бердяев, только что начинавший, но сразу обративший на себя внимание.

Мы с женой, наезжая из Москвы, останавливались у Чулковых (недавно скончалась и Надежда Григорьевна Чулкова, супруга его — Царство Небесное!).

Георгий тогда кипел, действовал, проповедовал вместе с Вячеславом Ивановым свой мистический анархизм (позже пришел просто к христианству).

Вот в этих «Вопросах жизни», где и сам я сотрудничал, встретились мы впервые с Бердяевым и его женой Лидией Юдифовной. Было это в 1906 году, в памяти удержалось первое впечатление: большая комната, вроде гостиной, в кресле сидит

красивый человек с темными кудрями, горячо разглагольствует и по временам (нервный тик) широко раскрывает рот, высовывая язык. Никогда ни у кого больше не видал я такого. Очень необычно и, быть может, похоже даже на некую дантовскую казнь, но странное дело — меня не смущал нисколько этот удивительный и равномерно-вечный жест. Позже я так привык, что и не замечал вовсе. (Не знаю, как относился к этому сам Николай Александрович: может быть, считал знаком некоей кары).

Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин — это не наш, орловский или калужский, человек. (И в речи юг: проблэма, сэрдце, станция). В общем, облик выдающийся. Бурный и вечно кипящий, В молодости я немало его читал, и в развитии моем внутреннем он роль сыграл — христианский философ линии Владимира Соловьева, но другого темперамента, уж очень нервен и в какой-то мере деспотичен (хотя стоял за свободу). Станным образом деспотизм сквозил в самой фразе писания его. Фразы — заявления, почти предписания. Повторяю, имел он на меня влияние как философ. Как *писатель* никогда близок не был. Слишком для меня барабан. Все повелительно и однообразно. И никакого словесного разнообразия. Таких писателей легко переводить, они выходят хорошо на иностранных языках.

В нем была и французская кровь — кажется, довольно отдаленных предков. А отец его был барин южнорусских краев, от него, думаю, Николай Александрович наследовал вспыльчивость: помню, рассказывали, что отец этот вскипел раз на какого-то монаха, погнался за ним и чуть не прибил палкой. (Монахов-то и Н. А. не любил. Но не бил. И к детям был равнодушен).

Лента разворачивается. И вот Бердяевы уже в Москве. В нашей Москве и оседают. Даже оказываются близкими нашими соседями. Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяевых, а жил некогда тут Герцен — все это недалеко от Арбата, места Москвы дворянско-литературно-художественной.

Теперь Бердяевы занимают нижний этаж дома герценовского, Николай Александрович пишет свои философии, устраивает собрания, чтения, кипятится, спорит, помахая темными

кудрями, картинно закидывает их назад, иногда заразительно и весело хохочет (смех у него был приятный, веселый и просто-душный, даже нечто детское появлялось на этом бурном лице).

Иногда заходит к нам Лидия Юдифовна — редкостный профиль и по красоте редкостные глаза. Полная противоположность мужу: он православный, может быть, с некоторыми своими «уклонами», она — ортодоксальная католичка. Облик особенный, среди интеллигенток наших редкий, ни на кого не похожий. Католический фанатизм! Мало подходит для русской женщины (хотя примеры бывали: Зинаида Волконская).

Однажды, спускаясь с нами с крыльца, вдруг остановилась, посмотрела на мою жену своими прекрасными, прозрачно-зеленоватыми глазами сфинкса и сказала: «Я за догмат непорочного зачатия на смерть пойду!»

Какие мы с женой богословы? Мы и не задевали никого, и никто этого догмата не обижал, но у нее был действительно такой вид, будто вблизи разведен уже костер для сожжения верящих в непорочное зачатие.

Николай Александрович мог приходиться в ярость, мог хохотать, но этого тайного, тихого фанатизма в нем не было.

Много позже, уже в начале революции, запомнилась мне сценка в его же квартире, там же. Было довольно много народу, довольно пестрого. Затесался и большевик один, Аксенов. Что-то говорили, спорили, Д. Кузьмин-Караваев и жена моя коршунами налетали на этого Аксенова, он стал отступать к выходу, но спор продолжался и в прихожей. Ругали они его ужасно. Николай Александрович стоял в дверях и весело улыбался. Когда Аксенов ухватил свою фуражку и поскорей стал удирать, Бердяев захохотал совсем радостно.

— Ты с ума сошла, — шептал я жене, — ведь он донести может. Подводишь Николая Александровича.

Но тогда можно еще было выкидывать такие штуки. Сами большевики иной раз как бы стеснялись. (У нас был знакомый большевик Вуль, мы тоже его ругали, как хотели. Он терпел, даже как бы извинялся. Позже свои же его и расстреляли.)

И вот в полном ходу революция. Тут мы с Бердяевым гораздо чаще встречались — и в правлении Союза писателей (не коммунистического), и в Книжной лавке писателей — это была маленькая кооперация, независимая от правительства.

Мы стояли за прилавками, торговали книгами. Осоргин, проф. Дживелегов, Бердяев, я, Грифцов.

Дело шло хорошо. Мы скупали книги у одних, продавали другим. Осоргин, Грифцов занимались коммерческой частью. Мы с Бердяевым были «так себе», в сущности, мало нужные, во всяком случае, не деловые. Покорно доставали с полок книги, редко знали цену, спрашивали Палладу, красивую нашу кассиршу, она была вроде «хозяйки гостиницы», все знала и все умела. (Жива ли сейчас эта Елена Александровна или скончала дни свои в каком-нибудь концлагере, а то и просто в Москве? Если да, то мир тени ее!)

Мы жили дружно, по-товарищески. Но вот в этой самой лавке довелось мне видеть раз огненность Бердяева.

Кроме нижнего помещения, была у нас и наверху комнатка, и даже нечто вроде галерейки с книгами, напоминавшей хоры в залах старых домов.

Раз рылся я там в чем-то, искал книгу, что ли, вдруг снизу раздался громовой вопль Бердяева. Что такое? Перегнулся через решетку, вижу — Николай Александрович, багровый, кричит неистово на Дживелегова, а тот пятится, что-то бормочет смущенно... Проснулась кровь отцовская. Никаким монахом Дживелегов не был, ненавидеть его совсем не за что, но Бердяеву только недоставало костыля, чтобы получилось «action directe».

Оказалось, «Карпыч» сказал что-то игриво-обидное, но пустяки, конечно. Бердяев же взбеленился. Дживелегов поднялся ко мне на вышку несколько бледный.

— Ну и характерец...

А через четверть часа взошел и Бердяев, уже успокоившийся, смущенный.

— Простите меня, Алексей Карпович, я виноват перед Вами...

Это в его духе. Натура прямая и благородная, иногда меры не знающая.

Он перед этим написал книгу «Философия неравенства», против коммунизма и уравниловки, в защиту свободы и вольного человека (но никак не в защиту золотого тельца и угнетения человека человеком) Она печаталась частью в «Народоправстве», журнале Чулкова в Москве, в самом начале революции, когда такие вещи еще проходили. Книга — памфлет, написана с такой яростью и темпераментом, которые одушевляли, даже поднимали дарование литературное: уж очень все собственной кровью написано. Замечательная книга (позже он почему-то ее стеснялся)... Думаю, в позднейшей его европейской славе она не участвовала, для европейского средневекового интеллигента слишком бешеная).

Революция шла, и мы куда-то шли. Разносил ветер кучу писателей российских по лицу Европы. Бердяев попал в группу высланных за границу в 22-м году, я с семьей по болезни был выпущен в Берлин, и вот снова мы встретились, под иным уже небом. Не только что встретились, а целое лето 23-го года прожили в одном доме, в Лаврове, близ Штральзунда (на Балтийском море). В одном этаже С. Л. Франк с семьей, в другом — Бердяев с Лидией Юдифовной, в нижнем — я с женой и дочерью. Так что над головами у нас гнездились звезды философии. С этими звездами жили мы вполне мирно и дружески. С Николаем Александровичем ходили иногда в курзал, я пил пиво, а Бердяев с моей женой разглядывали танцующих немцев, немок, хохотали, веселились не помню уж из-за чего. (Странная вещь: Бердяев вспоминается очень часто веселым!)

Наверху сочинялись философии, внизу я готовил чтение о русской литературе (да и наверху, наверно, готовились: всех нас пригласил в Рим читать в Institute per Europa Orientale проф. Этторе Ло Гатто — каждого по специальности).

Той осенью оказался в Риме как бы съезд русских — Вышеславцев, Муратов, Чупров (младший, сын профессора, тоже экономист), Бердяев, Франк, я — каждый выступал перед публикой римской по своей части (по-французски и итальянски).

Италия мелькнула перед нами видением, как всегда, для меня блаженным, но прочно, «навек», поглотил нас Париж — почти всех тех участников римских бдений. История, страшные волны ее, пронеслись над нашими головами в Париже. Николай Александрович обосновался в Кламаре, Вышеславцев, Осоргин, я, Муратов — в самом Париже.

Тут видели мы войну, нашествие иноплеменных, поражение сперва одних, потом других, появление советских военных как победителей — все, все, как полагается...

Эмиграция же пережила некое смятение, некие увлечения, несбыточные надежды.

С Бердяевым произошло тоже странное: и немолод он был, и революцию вместе с нами пережил, и «Философию неравенства» написал, и свободу, достоинство и самостоятельность человека высочайше ценил... — и вдруг седеющий благородный лев вообразил, что вот теперь-то, после победоносной войны,

прежние волки обратятся в овечек. Что общего у Бердяева со Сталиным? А однако в Союзе советских патриотов он под портретом Сталина читал, в советской парижской газете печатался, эмигрантам брать советские паспорта советовал, вел разные переговоры с Богомоловым — кажется, считался у «них» почти своим.

В Россию, однако, не поехал. Но в доме у него в Кламаре чуть не все просоветское тогдашнего Парижа.

Да, это были не времена Лавки писателей в Москве и «одиночества и свободы». Одиночество было у тех, кто не ездил по советским посольствам, но и свобода осталась за ними.

Ты царь. Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Мы с женой не бывали больше у Бердяевых. (Любопытно, что и Лидия Юдифовна никак не уступила: к коммунизму осталась непримиримой. И вот, если бы попала в тогдашнюю Россию, вполне могла бы принять венец мученический за непорочное зачатие. Слава богу, не поехала.)

Здоровье Николая Александровича сдало — последствия давнего диабета.

Наша последняя встреча была грустной. Мы с женой шли по улице Кламара — навстречу похудевший, несколько сгорбленный и совсем не картинно-бурный Бердяев. Увидев нас, как-то прояснел, нечто давнее, от хороших времен Сивцева Вражка, Прерова, появилось в улыбке. Подошел, будто как прежде.

Нет, прежнего не воротить! Жена холодно, отдаленно подала ему руку — да, это не Москва, не взморье немецкое с пляшущими немцами.

Он понял. Сразу потух. Разговора не вышло никакого. Поздоровались на улице малознакомые люди, побрели каждый в свою сторону. Может быть, тик сильнее дергал его губы. Может быть, и еще больше он сгорбился. Может быть, мы могли быть мягче с ним. (Но так кажется издали! Тогда слишком все было остро. Он слишком был с «победителями». Тогда трудно было быть равнодушным).

В Россию он не попал. Книги его под полным запретом. Я думаю! Очень он им подходящ!²²

* * *

Обычно по воскресеньям у нас собирались друзья Николая Александровича. Бывали не только французы, англичане и американцы, но и японцы, китайцы, индусы. В воскресенье 21 марта 1948 года собрание было особенно многочисленно. Н. А. был особенно оживлен. Мы говорили о проблеме зла. Поздно вечером, когда все разошлись, Н. А. сказал мне, что очень утомился. Но, несмотря на усталость, за ужином он продолжал говорить о проблеме зла — вопрос, который мучил его всю жизнь.

На следующий день утром, когда я вошла в его кабинет, Н. А. сказал мне, что он не спал всю ночь, задыхался и очень страдал от спазм во всем теле. Утомленный, осунувшийся, он спустился вниз, в нашу маленькую столовую. За утренним кофе он сказал: «Знаете, Женя, у меня совершенно созрел план новой книги (он только что, две недели тому назад, закончил «Царство Духа и царство Кесаря»). Я хочу писать книгу о новой мистике. Все главы я уже распределил. В первой главе я буду говорить о том, что в основе мира Тело и Кровь Христа». Я хотела рассказать, как мне открывается мистический опыт, но Н. А. меня прервал: «Не будем говорить об этом. Когда я начинаю писать новую книгу, я не люблю говорить о ней, даже читать книги, в которых затрагиваются те же вопросы. Мир как бы перестает существовать для меня, я весь погружаюсь в раскрывающуюся во мне глубину». Я посмотрела на его побледневшее лицо и решила сегодня же позвать доктора, который жил в Кламаре и всегда лечил Н. А. Доктор приехал вечером. Н. А. провел весь день как обычно: писал, читал. Эти дни он мне говорил, что с каким-то особенным вниманием читает Библию. Доктор ничего серьезного не нашел. Небольшое ослабление сердца. И сказал, что приедет через несколько дней.

На следующий день, день смерти, Н. А. спустился к утреннему кофе и на мой вопрос, как он себя чувствует, ответил: «Очень хорошо. Гораздо лучше...» Все утро он писал в своем кабинете. За завтраком мы обсуждали самые разнообразные вопросы. Н. А. говорил с необыкновенным волнением. Меня это как-то тревожило. Обычно после завтрака он поднимался к себе, работал и после трех часов ложился отдохнуть. За чаем он сказал мне, что чувствует себя немного хуже, но, несмотря на это, ушел работать. Было около пяти часов. Я была внизу и услышала его слабый голос: «Женя, мне очень плохо». Я поднялась по лестнице, вошла в кабинет. Он сидел в кресле у

письменного стола. Голова была закинута назад, лицо бледнело. Он тяжело дышал. Я прикоснулась к его руке. Пульса не было. Дыхание прекратилось...

Приехавший доктор констатировал смерть от разрыва сердца.

[*Е. Ю. Панин. Смерть*]²³

* * *

Горестная весть о внезапной кончине Николая Александровича Бердяева, последовавшей в понедельник 22 марта, мгновенно облетела весь русский Париж.

Парижское радио известило французских слушателей о смерти русского мыслителя во вторник (одновременно о кончине Н. А. Бердяева было передано по лондонскому, женевскому, амстердамскому радио). Во французских, английских, швейцарских газетах уже на другой день после смерти Н. А. появились заметки, статьи и некрологи, посвященные памяти умершего.

В пятницу, к трем часам дня, на отпевание в небольшой особняк на улице Каменной Мельницы в Кламар (где безвыездно прожил в течение двадцати пяти лет Н. А. Бердяев) начали стекаться друзья покойного, его ученики и почитатели, представители французского литературного и ученого мира, весь цвет русского культурного Парижа.

Комната, в которой установлен гроб, быстро переполняется. Присутствующие — около двухсот-двухсот пятидесяти человек — теснятся в небольшом садике, окружающем домик Н. А., и даже на улице.

Чин отпевания совершается настоятелем Трехсвятительского Подворья архимандритом Николаем Ереминым (покойный Н. А. Бердяев был одним из основателей этого православного центра русского Парижа). Прекрасно поет хор под управлением С. А. Родионова. О Николаю сослужат настоятель Ванвской церкви о. Сергей Шевич (с часа кончины служивший несколько панихид у гроба покойного), игумен Серафим, о. Андрей Сергеенко, о. Евграф Ковалевский. Последний произнес краткое слово об умершем.

— Покойный, — говорит о. Евграф, — будучи до мозга костей русским человеком, духовно крепко связанным с Россией, являлся в то же время мыслителем вселенским. Его земной миссией было звать мир к утверждению правды во Христе. Он всегда и без уклонов шел прямым путем к истине... После отпе-

вания улица перед домом Н. А. Бердяева переполняется народом. На катафалке, запряженном парой облеченных в траурные попоны лошадей, устанавливается гроб, утопающий в цветах (среди многочисленных венков от русских организаций и друзей покойного запоминается венок от французских почитателей с надписью «Au plus grand penseur chrétien»). Похоронная процессия медленно двигается в довольно продолжительный путь (от квартиры Н. А. Бердяева до кламарского кладбища — около получаса ходьбы).

Здесь — на живописном и хорошо знакомом русском кламарцам кладбище — гроб опускается в фамильный склеп, где уже покоится жена покойного философа — Л. Ю. Бердяева.

Погребение заканчивается в шестом часу вечера, но многие остаются еще на кладбище, у свежей могилы.

[Б. Б. Похороны]²⁴

* * *

Многие церковные люди говорили и говорят: «Бердяев жил вне церкви». Его книги для церкви неприемлемы. Гораздо менее его религиозные люди приглашались занять кафедры в духовных академиях. Бердяева там всегда избегали. Но Бердяев был глубоко религиозный человек. Он был совершенно послушен церкви во всех таинствах и обрядах.

Менее всего его можно назвать сектантом. Сектант прежде всего желает разделить с церковью, с фанатизмом отстаивает «свое». Бердяев никогда не дорожил ни своими словами, ни мыслями. Он их бросал и часто к ним не возвращался: «Я не люблю уже раз мною произнесенного», — часто говаривал он. Отказывался иногда даже от прежних книг. Одно только его постоянно занимало и жило в сердце: найти новые убедительные доводы, чтобы доказать всему миру: у всех у нас одна дорога — религиозное возрождение.

Бердяев никому не навязывал церкви, но так видел его весь читающий его мир: стоя на высочайшей паперти православного храма, молча простирал он руки: сюда, сюда, сюда!

Однажды перед первой войной, в домашнем кругу, Бердяев рассказал свой сон. Следует заметить: Бердяев, конечно, был вовсе не суеверен. Но бывают сны — как видение, как вышнее утешение, как ободрение в тяжком пути.

«Я стоял на большой площади, где заседал церковный собор. Стал искать и себе место, но сколько ни ходил, не мог най-

ти. В каком-то отчаянии я полез на возвышенность, окружавшую площадь. Лез долго, устал до изнеможения, окровавил ноги и руки. И достигши, наконец, вершины увидел крест с распятым Христом. В крайнем изнеможении я упал к его ногам».

Этот сон повторялся потом несколько раз. Незадолго до смерти Бердяев тоже рассказал мне виденный им сон:

«Я сидел в купе экспресса, мчащегося в Россию. Уже виднелись русские поля. Вдруг я оглянулся. Тут же в купе, в двух шагах от меня, стоял Иисус Христос в белой одежде... И я проснулся».

[П. К. Иванов. Два сна Бердяева]²⁵